Перед восходом солнца

Перед восходом солнца

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО

ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

ПОВЕСТЬ

Вступительные статьи
Веры фон Вирен-Гарчинской
и
Бориса Филиппова

Международное Литературное Содружество

1967

Редактор Евгения Жиглевич
Портрет М. Зощенко работы Юрия Анненкова
Обложка работы Николая Сафонова

Publisher: Inter-Language Literary Associates
New York — Baltimore
Printed in Germany

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО – АВТОР ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПОВЕСТЕЙ

Михаил Зощенко принадлежит к кругу тех советских писателей, творчество которых никогда не было признано — и даже до конца понято — в полном своем объеме как советскими читателями, так и критикой.

Правда, в двадцатых годах не было, быть может, писателя, пользовавшегося столь широкой и всеобщей популярностью, как Михаил Михайлович Зощенко. По словам библиографа Владиславлева общий тираж выпущеннных им книг уже к 1927 году превышал один миллион экземпляров.[1] Но, думается, Владиславлев даже преуменьшил тираж Зощенко. Так, Маяковский 29 марта 1926 года говорил о массовых изданиях «Огонька»: «Зощенко разошелся в "Огоньке" в 2.000.000 экземпляров. Есенин в 100.000».[2] Популярность Зощенко основана преимущественно на коротких рассказах — в советской литературе он и до сих пор остается непревзойденным мастером остро-сюжетной прозаической миниатюры. И до сих пор он известен большинству читателей преимущественно как юморист и сатирик, как мастер созданного им советского «сказа». Однако короткие рассказы отнюдь не исчерпывают литературного наследия Зощенко. Всю свою жизнь Зощенко писал и повести, стремился написать и роман — тяготел к большой литературной форме.

Виктор Шкловский еще в 1927 году писал, что «сам Зощенко, вероятно, хочет написать роман. Нужен же ему только воздух».[3] Ясно, что «воздух» — это какая-то творческая свобода — возможность писать о том и так, как это хочется автору. Но к концу двадцатых годов даже та ограниченная творческая свобода, какая дала все-таки возможность появиться

---

[1]) В. Владиславлев. Литература великого десятилетия. 1917-1927. ГИЗ, Москва-Ленинград, 1928.

[2]) Выступление на диспуте о советском иллюстрированном журнале. В кн.: Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13 томах. Том 12, ГИХЛ, Москва, 1959, стр. 295-296.

[3]) В. Шкловский. О Зощенко и большой литературе. «Мастера современной литературы», Ленинград, 1928, стр. 17.

в двадцатых годах лучшим произведениям советской литературы, — показалась советским властителям «гнилым либерализмом». Писать становилось все труднее и труднее, часто почти невозможно. Однако, мысль о большом прозаическом произведении не оставляла Зощенко. Михаил Слонимский, близкий друг Зощенко, пишет о своем разговоре с ним 8 января 1928 года: «Вот, напишу "Записки офицера", у меня там положительный тип будет. ...В "Записках офицера" какая-то линия будет от исходной точки. Я вернусь к ней... "Записки офицера" с неизбежностью прикоснулись бы к темам, которые в ту пору усиленно разрабатывались другими писателями, — "перестройка интеллигенции", "революция и интеллигенция"...»[4]) Именно в те годы Зощенко и начал писать не только вещи гораздо большего объема, чем раньше, но начал затрагивать и более глубокие темы, хотя, в угоду «социальному заказу», ему приходилось попутно писать всяческие повести о Керенском, о Шевченко, рассказы о Ленине и прочие явно халтурные произведения. Поэтому, рассматривая творчество Зощенко, нужно провести резкое разграничение между этими произведениями «на заказ» — и теми, которые писались автором более или менее свободно, без столь явного давления *партии и правительства*. В конце двадцатых и в начале тридцатых годов в рассказах и повестях Зощенко все усиливается лирическая струя. Это подметил и Максим Горький в письме к Зощенко из Сорренто, 16 сентября 1930 г.: «Данные сатирика у вас — налицо, чувство иронии очень острое и лирика сопровождает его очень оригинально. Такого соотношения иронии и лирики я не знаю в литературе ни у кого...».[5]).

Но написать все, что было им задумано, Зощенко не смог. С конца двадцатых годов преследование Зощенко все более и более усиливается. Усиливается и издавна присущая Зощенко ипохондрия, его неврастения все больше и больше мучит писателя. Все это заставляет Зощенко не только теоретически, но и практически, из чисто личных соображений, интересоваться вопросами физического и особенно психического здоровья, в частности, вопросами психоанализа. Преследования только усиливают эту заинтересованность, правда,

---

[4]) М. Слонимский. Из воспоминаний о Михаиле Зощенко. «Звезда», 1965, № 8, стр. 205.

[5]) Литературное Наследство. Том 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 159.

они заставляют Зощенко маскировать ее то юмористическими концовками, то прямым издевательством над учением Фрейда. Таковы рассказы Зощенко «Матренища» (1926), «Медицинский случай» (1928), «Личная жизнь», «Врачевание и психика» (1933). Характерно само название этого рассказа. В 1932 году вышла в русском переводе книга Стефана Цвейга как раз под тем же самым названием: «Врачевание и психика», причем последний очерк в ней был посвящен Зигмунду Фрейду.[6]) Несомненно, что и до этой книги Зощенко был знаком с психоанализом Фрейда, но весьма популярный в Советской России Стефан Цвейг еще в большей степени, чем до того, привлек внимание Зощенко к психотерапии австрийского ученого. Однако уже в рассказах 1926-1928 гг. у Зощенко имеются следы серьезного и вдумчивого отношения к Фрейду. И лечение исповеданием — абреакция,[7]) и лечение путем восстановления в памяти того, что могло травмировать психику, и лечение путем повторного шока.

В еще большей степени элементы фрейдовского психоанализа представлены в повести «Возвращенная молодость» (1933). В этой повести — особенно в некоторых комментариях — уже очень сильно представлен автобиографический элемент. Правда, как и в предлагаемой вниманию читателей повести «Перед восходом солнца» (1943), на словах Зощенко всячески открещивается от Фрейда, но вызвано это чисто внешними, политическими причинами. Ведь даже сейчас, после некоторой «оттепели», Фрейд — запретный плод в СССР. Если сейчас после тридцатилетнего перерыва о нем все-таки говорят, то с конца двадцатых годов его просто предпочитали замалчивать. И это после огромной популярности, какой Фрейд пользовался в дореволюционной России и в России до конца двадцатых годов! Но и сейчас Фрейда и фрейдизм в СССР упре-

---

[6]) По-немецки, в оригинале книга Цвейга вышла на год раньше русского издания: St. Zweig. Heilung durch den Geist, 1931. Книга эта, имеющая примерно 445 страниц, разделена на 3 части. Первая посвящена Францу-Антону Мессмеру, знаменитому венскому врачу, открывшему «животный магнетизм» — отцу гипноза; Вторая — Мэри Бэкер-Эдди, основательнице «Christian Science» и душевного лечения верой; третья — Фрейду.

[7]) Sigmund Freud und Josef Breuer. Studien über Hysterie, 1895. В русском переводе: З. Фрейд и И. Брейер. Очерки истерии. СПб., 1900. Книга посвящена методу «абреакции» или «катарсису», из которого и развился в дальнейшем психоанализ.

кают во всех смертных грехах, отнюдь не смущаясь даже полной неразберихой и противоречиями. То Фрейда и фрейдизм обвиняют в недоучете материального фактора в поведении человека, в недооценке этого фактора в общественной жизни — и приравнивают Фрейда к «идеалистам»: «Фрейд выступает проповедником психологизма, игнорирует важнейшее значение материальных условий в жизни общества... Философской основой фрейдизма является субъективный идеализм. Поэтому фрейдизм является не только односторонней, но и антинаучной концепцией и играет одностороннюю роль». Так характеризует Фрейда и фрейдизм Большая Советская Энциклопедия.[8]) То Фрейда и фрейдизм обвиняют в прямо противоположном — в механистическом материализме, примитивном физикализме. Советский психолог, проф. Басин, пишет, например: «Сублимация влечения, то есть переключение последнего на новое психологическое содержание, объясняется по Фрейду всего лишь переводом заряда "психической энергии" с одного импульса на другой. Более откровенный и примитивный физикализм, более механистический подход в психологии подыскать было бы, пожалуй, трудно».[9]) Не в меньшей степени нападают на Фрейда и советские литературоведы: «... писатели-декаденты охотно опирались... на учение Зигмунда Фрейда, в особенности, когда возникала необходимость отобразить духовную жизнь человека. К Фрейду их влекла апология подсознательного, противоставление инстинктивного начала как господствующей и направляющей силы началу разума... В тесной связи с идеями Бергсона и Фрейда в 20-х годах выработался пресловутый литературный прием так называемого "потока сознания" — натуралистическая запись душевных и физических ощущений, запись аморфная и эмпирическая...»[10]) Чрезвычайно характерно: советская психология прошла мимо всего сделанного в мире в последние полтора-два столетия — и осталась на уровне тощего рационализма французских просветителей и интеллектуализ-

---

[8]) Большая Советская Энциклопедия. Изд. 2-е. Том 45, Москва, 1956, стр. 584 («Фрейдизм»).

[9]) Ф. В. Басин. Фрейдизм в свете современных научных дискуссий. «Вопросы Психологии», 1958, № 5, стр. 142.

[10]) Т. В. Балашова, О. В. Егоров, А. Н. Николюкин, Р. А. Филипчикова. Зарубежные связи советской литературы 20-х годов. В кн.: История русской советской литературы. Том 1. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1958, стр. 474.

ма Гербарта... Но кто же все-таки Фрейд? Субъективный идеалист? Механистический материалист? Бергсонианец? Для советских исследователей все это — неважно. Все равно, мол, идеологический враг, мракобес, противник марксизма, реакционер. Да еще ставящий во главу угла не производственные отношения, а половое влечение! А отсюда — вредный натурализм и «поток сознания» у писателей, какие-то поиски подсознательного, уводящие писателя от ясного пролетарского сознания, от партийной сознательности... Так расценивали Фрейда в конце пятидесятых годов. А в то время, когда писал свои повести Зощенко, имя Фрейда было еще неизмеримо более запретным. Вот и приходилось всячески скрывать свою горячую заинтересованность психоанализом, все время выдвигая на первый план официально признанное учение Павлова. Но приведем хотя бы одну цитату из «Возвращенной молодости»: «Здесь пример переключения одной энергии на другую, то есть переключения психической энергии на физическую. Человек, раздражившись, создал в своем теле энергию, которая не исчезает сама по себе даже при условии успокоения — она лишь переключается на другой вид энергии. В данном случае она переключилась на физическую энергию...».[11]) Не напоминает ли это место из «Возвращенной молодости» именно то, в чем — в приведенной выше цитате — проф. Басин упрекает Фрейда? И таких мест из повести можно было бы привести очень много. И уже прямо взятой из «Врачевания и психики» или из психоанализа Фрейда кажется такая цитата из той же повести Зощенко: «...если самовнушение и воздействие психики может вызвать столь ощутимые и даже невероятные признаки, как ожог, воспаление и даже смерть, то та же психика за порогом сознания, видимо, может воспроизводить любые действия со всем хозяйством своего организма. Любая болезнь, любое свойство характера могут быть вызваны путем неправильного психического представления, путем самовнушения, которое, как мы видели, играет столь значительную и выдающуюся роль. ...Воздействие же психики и самовнушения на работу всего организма столь велико, что, повидимому, большинство болезней стоит отнести за этот счет...».[12])

---

[11]) М. Зощенко. «Возвращенная молодость». Изд. Писателей в Ленинграде, 1934, стр. 135.

[12]) Там же, стр. 177-178.

«Возвращенную молодость» нельзя назвать повестью в обычном понимании этого слова: это — сочетание сюжетного повествования, занимающего около трети всей книги, с популярно-научными комментариями и автобиографическими этюдами. Некий переход от художественной прозы в обычном смысле этого слова — к научной прозе. Недаром после написания и опубликования «Возвращенной молодости» Зощенко был приглашен Иваном Петровичем Павловым на павловские знаменитые «среды». Эти дискуссионные беседы по средам начались весной 1921 года и продолжались до смерти академика — до февраля 1935 года. На этих беседах обсуждались и опыты, производившиеся академиком Павловым, и критиковались труды западных ученых. Происходили беседы в здании павловского института Академии наук СССР. Следует отметить, что предметом обсуждения как раз в те годы, когда Зощенко бывал на павловских средах, были и вопросы «врачевания и психики», в частности, Мэри Бекер Эдди.

Почти десять лет отделяют «Возвращенную молодость» от самой зрелой вещи Зощенко — «Перед восходом солнца». Эта последняя его подлинно художественная повесть — уже чисто автобиографическое, притом ярко выраженное психоаналитическое произведение. Оно прямо и откровенно построено по основному принципу психотерапии: заставить самого себя полностью припомнить, воссоздать в своей душе тот случай, то происшествие или то яркое впечатление, которое могло травмировать психику. Это — тот «исходный пункт», который стремился воссоздать Зощенко в «Записках офицера»; это — тот «исходный травмировавший случай», который упорно ищет в сознании и самых дальних углах своего подсознания автор «Перед восходом солнца». Через четыре года после написания «Возвращенной молодости», в 1937 году, Зощенко, говоря о своих творческих планах, называет повесть «Ключи счастья», которую хочет написать.[13]) Повесть под таким названием им не написана, но есть все основания предполагать, что этот замысел и лег в основу автобиографической повести «Перед восходом солнца». «Ключи счастья» мыслились автором, как продолжение проблематики повести «Возвращенная молодость». Незадолго до этого интервью в «Литературной газете», Зощенко в «Голубой книге» упомянул, что подготавливает книгу о своей личной жизни и ле-

---

[13]) «Литературная Газета», 5 января 1937.

чении. Все это, вместе с предисловием к повести «Перед восходом солнца», свидетельствует о том, что все эти литературные проекты и вылились, очевидно, в форму предлагаемой вниманию читателей повести. В своей статье «Михаил Зощенко. Из воспоминаний» («Москва», 1965, № 6, стр. 207) Корней Чуковский прямо говорит ,что «Вместо прежнего названия "Ключи счастья" он [Зощенко] дал ей новое: "Перед восходом солнца"». Советские психологи и философы должны — для чисто практических нужд — признавать существование подсознательного: нужды психоневрологии и психиатрии, практическая психотехника, наконец, вынуждают их принять это подсознательное, как данность. Но *теоретически* они обязаны отрицать психоанализ и всячески принижать — чуть ли не отрицать — роль подсознательного... Отсюда — почти непонятная вражда к Фрейду или — когда уже нужно практически что-то принять «на вооружение» из психоанализа — приписывание этих положений обязательно И. П. Павлову. И хотя Зощенко — из соображений мимикрии — и сам пошел этим же путем, ему-то никто не поверил... Так, небезызвестный советский критик Л. Плоткин прямо говорит об этом: «Всю историю культуры он (Зощенко. В. В.) с самодовольством невежды, нахватавшегося верхов фрейдизма и шпенглерианства, объясняет с точки зрения действия законов биологии».[14])

Зощенко затравили. Собственно, наибольшим нападкам подверглась как-раз повесть «Перед восходом солнца». Она до сих пор не издана полностью. Ее до сих пор не переиздали. Почему? Да потому же, почему запретным в СССР является и Фрейд: считается вредным изучать душу, изучать ее слишком пристально — особенно же свою собственную душу. А подсознательное — тем более. Мало ли что обнаружит человек в своем подполье?

Но нас особенно должны интересовать именно те повести Зощенко, где он предельно откровенен с нами и самим собой, где он заглядывает в глубины человеческого подсознания, где он — наиболее человечен, а следовательно — и общечеловечен.

Вера фон Вирен-Гарчинская.

---

[14]) Л. Плоткин. Проповедник безыдейности — М. Зощенко. «Звезда», 1946, № 7-8, стр. 219

ОПАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

С конца двадцатых годов Зощенко не в чести у советской критики. Всегдашнее ее обыкновение, — так ярко проявившееся в позорной комедии суда над Синявским и Даниэлем, — выдавать высказывания и поступки героев произведений за взгляды и поступки самих авторов этих произведений — приносило Михаилу Михайловичу Зощенко немало неприятностей. В письме к Михаилу Слонимскому 12 сентября 1929 г. он жаловался: «Чертовски ругают... Невозможно объясниться. Я сейчас только соображаю, за что меня (последний год) ругают — за мещанство! Покрываю и любуюсь мещанством! Эва, дела какие! Я долго не понимал, в чем дело. Последняя статья разъяснила. Черт побери, ну как разъяснишь? Тему путают с автором. Не могу же я к каждому рассказу прилагать учебник словесности... В общем худо, Мишечка! Не забавно. Орут. Стыдят в чем-то. Чувствуешь себя бандитом и жуликом».[1]) А через одиннадцать лет М. Слонимский писал о Зощенко: «Зощенко... обвиняли в тех самых грехах, в каких бесспорно виноваты его персонажи. Это все равно, что пожарного счесть пожаром или ассенизатора признать навозом и выбросить его на помойку, или критику приписать грехи рецензируемой им книги...»[2])

Как же обрушились на автора критические советские полканы и шавки, когда Зощенко обратился к жанру автобиографической повести! Стоило появиться в журнале «Октябрь» — в двух его номерах за 1943 год (№ 6-7 и 8-9) — повести «Перед восходом солнца», как значительная часть целого номера газеты «Литература и Искусство» была заполнена злобными и доносительными нападками на автора и его повесть: статья Л. Дмитриева «О новой повести М. Зощенко», репортаж «На обсуждении журнала "Октябрь"», в кото-

---

[1]) М. Слонимский. Из воспоминаний о Михаиле Зощенко «Звезда», 1965, № 8, стр. 206. Перепеч. в книге автора «Книга воспоминаний», изд. «Советский Писатель», Москва, 1966.

[2]) «Звезда», 1940, № 7.

ром подробно описывалось «возмущение» советских писателей, в том числе А. Фадеева, непатриотической, антихудожественной, циничной повестью Зощенко.[3]) Вскоре откликнулся и орган ЦК ВКП(б) — журнал «Большевик», поместивший разгромную статью, написаннную целым коллективом держиморд, посвященную той же злосчастной повести.[4]) Это уже было официальным призывом к травле Зощенко. К травле присоединились и друзья писателя. Так, Николай Тихонов писал тогда: «Повесть Зощенко — явление глубоко чуждое духу, характеру советской литературы. В этой повести действительность показана с обывательской точки зрения — уродливо искаженной, опошленной, на первый план выдвинута мелкая возня субъективных чувств».[5]) Газета «Литература и Искусство» честит Зощенко в передовой редакционной статье мартовского номера 1944 года.[6]) Но завершением всех злобных наскоков явилось постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года, клеймившее главным образом, Зощенко и Ахматову: «Предоставление страниц "Звезды" таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции "Звезды" хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь, как "Перед восходом солнца", оценка которой, как и оценка всего литературного "творчества" Зощенко была дана на страницах журнала "Большевик"». И об авторе опальной повести ЦК писал, что «Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и

---

[3]) «Литература и Искусство», 11 декабря 1943.

[4]) Б. Горшков, Г. Баулин, А. Рутковская, П. Большаков. Об одной вредной повести. «Большевик», 1944, № 2, стр. 56-58. В частности, в этой статье говорилось: «Вся повесть "Перед восходом солнца" проникнута презрением автора к людям. Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, — это пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. Повесть заполнена персоной самого Зощенко» и т. д.

[5]) Н. Тихонов. Отечественная война и литература. «Новый Мир», 1944, № 1-2, стр. 186.

[6]) «О чувстве нового». «Литература и Искусство», 25 марта 1944,

пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание».[7]) Вслед за этим постановлением ЦК партии, на Зощенко и Ахматову обрушился в своем получившем печальную известность докладе А. А. Жданов: «Зощенко с его омерзительной моралью удалось проникнуть на страницы большого ленинградского журнала и устроиться там со всеми удобствами. А ведь журнал "Звезда" — орган, который должен воспитывать нашу молодежь. Но может ли справиться с этой задачей журнал, который приютил у себя такого пошляка и несоветского писателя, как Зощенко?!» И, вспоминая опять о злополучной повести «Перед восходом солнца», Жданов продолжал: «В этой повести Зощенко выворачивает наизнанку свою пошлую и низкую душонку, делая это с наслаждением, со смакованием, с желанием показать всем: — смотрите, вот какой я хулиган. Трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та "мораль", которую проповедует Зощенко в повести "Перед восходом солнца", изображая людей и самого себя как гнусных похотливых зверей, у которых нет ни стыда, ни совести... Его современные "произведения" не являются случайностью. Они являются лишь продолжением всего того литературного "наследства" Зощенко, которое ведет начало с 20-х годов...».[8]) Далее в своем черносотенном докладе Жданов ссылается на давние высказывания Зощенко о себе и своем творчестве: «...Вообще писателем быть очень трудновато. Скажем, та же идеология... Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность... Какая, скажите, может быть у меня "точная идеология", если ни одна партия в целом меня не привлекает? ...С точки зрения людей партийных я беспринципный человек. Пусть.

[7]) О журналах «Звезда» и «Ленинград». Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. «Правда», 21 августа 1946; «Звезда», 1946, № 7-8, стр. 3. Указание ЦК на то, что Зощенко «ничем не помогал советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков» — явная и намеренная ложь. Смотри, в частности, предисловие к повести «Перед восходом солнца».

[8]) Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». «Спутник Агитатора», журнал ЦК и МК ВКП(б), № 20, Сентябрь, 1946, стр. 13-14

Сам же я про себя скажу: я не коммунист, не эс-эр, не монархист, а просто русский и к тому же политически безнравственный... Честное слово даю — не знаю до сих пор, ну вот хоть, скажем, Гучков... В какой партии Гучков? А черт его знает в какой он партии. Знаю не большевик, но эс-эр он или кадет — не знаю и знать не хочу...».[9]) Ссылаясь также на «символ веры» Серапионовых братьев, к которым в свое время принадлежал и Зощенко, Жданов цитирует попутно Льва Лунца: «Мы собрались в дни революционного, в дни мощного политического напряжения. "Кто не с нами, тот против нас!" — говорили нам справа и слева, — с кем же вы, Серапионовы братья? Мы с пустынником Серапионом. Слишком долго и мучительно правила русской литературой общественность... Мы не хотим утилитаризма. Мы пишем не для пропаганды. Искусство реально, как сама жизнь, оно без цели и без смысла, существует потому, что не может не существовать».[10]) И Жданов делает вывод: «Такова роль, которую "Серапионовы братья" отводят искусству, отнимая у него идейность, общественное значение, провозглашая безыдейность искусства, искусство ради искусства, искусство без цели и смысла. Это и есть проповедь гнилого аполитицизма, мещанства и пошлости. Какой вывод следует из этого? Если Зощенко не нравятся советские порядки, что же прикажете: приспосабливаться к Зощенко? Не нам же перестраиваться во вкусах. Не нам же перестраивать наш быт и наш строй под Зощенко. Пусть он перестраивается, а не хочет перестраиваться — пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безыдейным и пошлым произведениям». *Бурные аплодисменты»*.[11])

Бурные аплодисменты... Зощенко был выброшен из литературы, из прессы, из жизни. После сатрапа Жданова на него набросились скопом и врозницу более мелкие активисты — писатели, ударники-читатели и ударники, вовсе ничего

---

[9]) М. Зощенко. О себе и еще кое о чем. «Литературные Записки», 1922, № 3, стр. 28.

[10]) Л. Лунц. Почему мы Серапионовы братья? «Литературные Записки», 1922, № 3, стр. 30-31.

[11]) См. указанный выше доклад Жданова, стр. 14-15.

не читающие...[12]) Нужно ли говорить, что уже после статей Дмитриева и Горшкова со товарищи печатание повести «Перед восходом солнца» в журнале «Октябрь» было прервано, прекращено, и конец ее остался в рукописи, нам здесь недоступной. В нашем издании перепечатана только та ее часть, что появилась в указанных выше двух книжках «Октября» за 1943 год. В своей статье «Михаил Зощенко. Из воспоминаний» Корней Чуковский, высоко оценивая повесть «Перед восходом солнца», пишет, что на его письменном столе лежит она в ее полном виде — и опубликованная ее часть и

---

[12]) Из погромных статей, касающихся, в частности, и повести «Перед восходом солнца», упомянем — для полноты картины — еще статьи Л. Плоткина и члена-корреспондента Академии Наук СССР А. М. Еголина. «Порочность писательской деятельности Зощенко с особой остротой проявилась в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году... Зощенко напечатал повесть "Перед восходом солнца". Следует прямо сказать, что по своему упадочному духу, по своему зловещему мрачному колориту эта повесть в советской литературе беспрецедентна и может найти себе аналогию только в западно-европейской литературе буржуазного декаданса, либо в дореволюционной русской литературе Сологубов и Арцыбашевых. В основе повести лежит теория буржуазного ученого Зигмунда Фрейда о решающей роли подсознательной сферы в поведении человека. Весь мир, вся человеческая жизнь, все человечество представляют собой в повести Зощенко мрачную смесь подлости, похоти, корыстолюбия и эгоизма. Нет ничего удивительного в том, что эта повесть вызвала негодование советской общественности. В журнале "Большевик" была дана ей достойная оценка». (Л. Плоткин. Проповедник безыдейности — М. Зощенко. «Звезда», 1946, № 7-8, стр. 222). И Плоткин говорит в своей погромной статье об «исходном пункте убогой философии Зощенко. По его мнению, в основе жизни лежат низменные биологические законы. Жизнь в основных своих проявлениях неподвижна и одинакова, понятие социального прогресса — понятие иллюзорное и призрачное. Человек в своей сути эгоистичен, своекорыстен, жаден, он стремится к личному наслаждению, ему недоступны высокие цели и стремления, заботы о своем "личном счастьишке" являются главным двигателем всех его поступков и помыслов. Так было, так есть и так будет» (там же, стр. 218). Характерно совпадение не только по существу, но и по приемам и словесной оболочке этих нападок на Зощенко с нападками З. Кедриной и прочих на Синявского и Даниэля: даже упоминание именно Сологуба и Арцыбашева совпадают — и это через двадцать лет! Вот уж действительно — в СССР «так было, так есть и так будет»! Нападая на Зощенко и Ахматову с якобы более «академических» позиций, член-корреспондент Академии Наук СССР А. М. Еголин также называет «Перед восходом солнца» «пошлой автобиографической повестью», «представляющей грязный пасквиль на советскую действительность» (А. М. Еголин. За высокую идейность советской литературы. Изд. «Правда», Москва, 1946, стр. 11).

неопубликованная.[13]) Из его статьи легко можно было бы заключить, что эта повесть вот-вот выйдет из печати в СССР. Но прошло больше двух лет, — а об издании этой повести в Советском Союзе и не заикаются...

Но вернемся к тем временам, когда была написана повесть, к тем годам, когда громили и преследовали Зощенко. Чтобы быть предельно документальными, мы и теперь будем прибегать к обильным цитатам. К цитатам из советских источников. «В августе 1946 года (после постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград") я был исключен из С (оюза) С (оветских) П (исателей). За годы 46-52 я, главным образом, занимался переводческой работой. Было издано четыре книги (в моем переводе...). В июне 1953 года я вновь принят в ССП». Так писал об этом сам Зощенко в своей автобиографии, сохранившейся в архиве писателя.[14]) Мы хорошо знаем, как нищенски в СССР оплачиваются переводы книг. И вот, почти за семь лет, Зощенко смог издать только четыре небольших книги переводов... Он жил в явной нищете. « Это продолжалось около десяти лет! И все эти десять лет Зощенко работал. Как настоящий художник, он понимал, что его единственное спасение — работа. Он работал каждый день. Он писал пьесы, писал фельетоны, которые возвращались автору с вежливыми или невежливыми отзывами. Он писал письма Сталину, в которых требовал справедливости. Писал, но не получал ответа».[15])

Полностью, впрочем, Зощенко не реабилитирован и до сих пор. Характерно, например, что дикая травля Зощенко и даже постановление ЦК и речь Жданова вовсе не упомянуты в очерке о Зощенко Г. Мунблита, помещенном в вышедшем в 1964 году втором томе «Краткой Литературной Энциклопедии».[16]) Вышедшие за последние годы сборники избранного Зощенко фальсифицированы: язык в них причесан, образы приглажены, да и лучшие вещи вообще в эти сборники не включены. В них преимущественно поме-

---

[13]) К. Чуковский. Михаил Зощенко. Из воспоминаний. «Москва», 1965, № 6.

[14]) Советские писатели. Автобиографии. Том III, ГИХЛ, Москва, 1966, стр. 287.

[15]) В. Каверин. За рабочим столом. «Новый Мир», 1965, № 9, стр. 155.

[16]) Столбцы 1047-1049.

щены наиболее слабые его произведения, написанные под давлением свыше, только ради куска хлеба, написанные в период травли писателя. Один из «серапионов» в прошлом, Вениамин Каверин, открыто пишет об этом: «Давно не издавались многие произведения Михаила Зощенко. Сборники, вышедшие в 1959 и 1962 годах, составлены главным образом из произведений, написанных в последнее десятилетие его жизни. По этим книгам невозможно судить о нем. Читая их, нельзя представить себе, что с ним в советскую литературу пришел тонкий, оригинальный юмор, что, встречаясь с трагикомическими нелепостями жизни, люди говорят: "Это для Зощенко"... Самая трудная для художника сторона жизни — ежедневное, обыденное, ускользающее от внимания — всегда была для Зощенко главной заботой. Белинский утверждал, что факты личной жизни имеют такое же значение, какое историки придают явлениям жизни народов. Зощенко смело писал о самом ничтожном. Он понимал, что в ничтожном подчас отражается вся огромность интересов общества, все значение перемен, происходящих в нашем сознании. Он имел огромный читательский успех... Одновременно росло и непонимание... Нашлись критики, поставившие знак равенства между Зощенко и его героем — мещанином, которого Зощенко беспощадно высмеивал. Для этого нужно было только одно — не чувствовать юмора... Это было бессознательное непонимание. Но было и сознательное. Волей-неволей Зощенко высмеивал славословие, все чаще звучавшее тогда в литературе. Его смех звучал среди неумеренных восхвалений».[17])

Увы, эти славословия звучат и поныне. И поныне не издают поэтому лучших вещей Зощенко. И вся современная советская литература превратилась в патоку, сладко-тягучую и безнадежно-аллилуйную. Недаром один из советских писателей молодого поколения, двадцатичетырехлетний студент Павел Иванов почти совсем открыто пишет об этом: «Желание прославиться?.. А кто не мечтает о доброй славе! Но только о доброй. Я совершенно не завидую писателям, которые пишут бесполезные, гладкие, как надувные резиновые шарики, произведения. Не завидую их го-

---

[17]) В. Каверин. За рабочим столом. «Новый Мир», 1965, № 9, стр. 154-155.

норарам, славе, не завидую тому, что такие произведения подписаны их именем. Подобной популярности я не хочу. Я представляю себя на их месте — и мне становится мучительно стыдно».[18]) Нет, Зощенко — в лучших своих произведениях — не был ни лакировщиком, ни аллилуйщиком. Он не зло, но трагикомически смеялся. А смех не к лицу эпохе социалистического реализма. Это прекрасно понимал, например, такой, казалось бы, чуждый ему писатель, как Осип Мандельштам: «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зощенко. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. А я требую памятников для Зощенко по всем городам и местечкам Советского Союза или по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем Саду. Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!»[19])

Но социалистические реалисты не хотят, чтобы им показывали советскую жизнь и советского трудящегося такими, каковы они в жизни: это, мол, бескрылый натурализм. «Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Притом правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся в духе социализма».[20]) Как сочетать при этом правдивость изображения конкретной действительности с желаемым ее идеалом — жизнью, перестраиваемой на социалистический манер, — об этом авторы положения о соцреализме умалчивают. Но нет ничего нового под луной: императрица Елисавета Петровна, красивая, аппетитная женщина, скорбела об одном изъяне в своей внешности: курносом носе. И, потребовав от портретиста вполне реального ее изображения, поставила одно непременное условие: выпрямить на портрете и несколько увеличить ее нос: или хорошая плата за портрет — если нос бу-

---

[18]) «Молодая Гвардия», 1966, № 11, стр. 314.

[19]) Четвертая проза. В кн.: О. Мандельштам. Собрание сочинений. Том 2, 1966, стр. 229-230.

[20]) Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934. Стенографический отчет. Москва, 1934, стр. 716.

дет исправлен «в его революционном развитии» — или батоги и опала... Недаром Андрей Синявский-Терц говорит о прямой генетической связи социалистического реализма не с реализмом XIX века, а с дифирамбической, одической традицией века XVIII-го: «По сравнению с фанатической религиозностью нашего времени XIX век представляется атеистическим, веротерпимым, нецелесообразным. Он мягок и дрябл, женствен и меланхоличен, полон сомнения, внутренних противоречий, угрызений нечистой совести... Голод XIX века, быть может, подготовил нас, русских, к тому, что мы с такой жадностью накинулись на пищу, приготовленную Марксом, и проглотили ее раньше, чем успели разобраться в ее вкусе, запахе и последствиях... В борьбе религиозных партий (XIX век) объявил себя нейтральным и выражал соболезнование и тем другим:

И там, и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
"Кто не за нас — тот против нас.
Нет безразличных — правда с нами."
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.

(М. Волошин)

Этих слов, таких же святотатственных как одновременная молитва Богу и Дьяволу, нельзя было допустить. Всего правильнее было объявить их молитвой Дьволу: "кто не за нас — тот против нас". Так и поступала новая культура... Начал этот священный поход, естественно, Горький... По своему герою, содержанию, духу социалистический реализм гораздо ближе к русскому XVIII веку, чем к XIX-му...

Услышь, услышь, о ты, вселенна!
Победу смертных свыше сил;
Внимай Европа удивленна,
Какой сей Россов подвиг был.
...Уверьтесь сим, что с нами Бог;

Уверьтесь, что Его рукою
Один попрет вас Росс войною,
Коль встать из бездны зол возмог!».[21])

Итак — «каков сих Россов подвиг был», — тех россов-советлян, с коими завсегда, даже с безбожниками, сам Бог... А тут — реально написанные люди, трудящиеся СССР без грима и париков, — в «библии труда» — рассказах и повестях Михаила Зощенко: «Пока мы тут с вами решаем разные ответственные вопросы насчет колхозов и промфинплана, жизнь идет своим чередом. Люди устраивают свою судьбу, женятся, выходят замуж, заботятся о своем личном счастьишке, а некоторые даже жулят и спекулируют».[22])

Что это? Где это? Неужто в стране «победившего социализма»? Разве социалистический реализм имеет право быть р е а л и з м о м? «Что касается до лозунга "срывания всех и всяческих масок", то это, взятое у Ленина определение... должно, как необходимая составная часть, войти в метод социалистического реализма, но, конечно, ...не в приданном ему впоследствии сторонниками "углубленного психологизма " и "действенного самоанализа" (значении). Правильный лозунг "срывания всех и всяческих масок" *с мистифицированных общественных отношений буржуазно-капиталистического общества* и отдельных его представителей явился неправильным и извращающим ленинское понимание его, когда ему придали распространительное толкование срывания всех и всяческих масок с *"действительности"*, — с действительности вообще, и в частности, с действительности советской...».[23]) Понятно, что при такой постановке вопроса — никакой советской с а т и р ы быть не может и не должно. Да, конечно, Синебрюховы и монтеры, актеры и совбарышни, колхозники и милиционеры Зощенко — это не социалистический реализм.

Как бы предваряя мысль Синявского-Терца о скептической и грустной, несколько ж е н с т в е н н о й литературе

---

[21]) Что такое социалистический реализм? В кн.: Фантастический мир Абрама Терца. Изд. Международного Литературного Содружества, 1967, стр. 423, 424, 429, 431.

[22]) Не надо спекулировать. В кн.: Мих. Зощенко. Рассказы, фельетоны, повести. ГИХЛ, Москва, 1958, стр. 74.

[23]) Е. Усиевич. Писатели и действительность. ГИХЛ, Москва, 1936, стр. 116-117.

русского XIX века, Зощенко считал и само писательство делом не вполне мужским: «Несмотря на кажущуюся фантастичность превращения в собственную тень, опасность приобретает конкретные черты, когда писатель садится за стол и принимается за свое, "в сущности, несвойственное мужчине", как заметил М. Зощенко, занятие...».[24])

Как большинство юмористов, Зощенко был человеком психически надломленным, больным пессимистом по природе, человеком трагического мировосприятия. Вот несколько свидетельств писателей, близко или более или менее близко знавших его. «Заглядывал в лавку (книжную лавку писателей, БФ) и тишайший Михаил Михайлович Зощенко. Спросит, что ему надо, и, уплатив за покупку, скрывается, словно его и не было. — Ведь смешно пишет! — говорит о нем Погодин. — А с виду будто или сам болен или жену в больницу отправил...».[25]) «Тихий, мало разговорчивый Зощенко был полон внутренних противоречий... Как-то, в разговоре со мной, он признался, что... читательский смех его глубоко огорчает, так как в его вещах, за словесным, формальным колером, скрывается трагическая сущность сегодняшней советской действительности. Больше того: он говорил, что в его передаче, *помимо его воли*, именно трагическая или, по меньшей мере, печальная сторона жизни становится комической и вызывает смех, вместо слез, ужаса и отвращения».[26]) «Много и откровенно пришлось мне разговаривать с Зощенкой. Однажды, 8 января 1928 года, жена моя, практикуясь в стенографии, взяла да и записала незаметно для нас один из наших разговоров... Зощенко, оказывается, говорил:

— Ты можешь ошибаться, считая, что романтика и лирика украшает мои молодые вещи. Это не украшает, а построено на ужасе... И мне совсем не смешно, когда я смеюсь, разговариваю с девицей. Вообще-то, ежели говорить обо мне, то я не верю, чтобы я мог изобразить благодушный организм...

И тут же:

— Я хочу быть нормальным человеком... У меня еще

---

[24]) В. Каверин. Несколько лет. «Новый Мир», 1966, № 11, стр. 150.

[25]) Леонид Борисов. Родители, наставники, поэты. Книга в моей жизни. «Звезда», 1966, № 12, стр. 157-158.

[26]) Юрий Анненков. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Том I. Изд. Международного Литературного Содружества, 1966, стр. 311.

продлится какой-то период моего нездоровья, но возможно, что скоро наступит благоприятная полоса, такая, какая была до неврастении, два года тому назад. В эту полосу я напишу вторую книгу повестей... Потом я стану приблизительно здоровым, нормальным человеком и напишу совершенно здоровую вещь со счастливым концом, авантюрную — "Записки офицера", которую я ношу черт знает сколько лет... И если бы я не подумал, что для этого нужно здоровье, — конечно, вышла бы ерунда собачья, я бы осекся... Был у меня какой-то период возмужалости, когда мне стыдно было говорить лирические вещи. Я понемножку приду к ним опять...

Он добавил:

— Я знаю, что надо быть здоровым человеком, чтобы их написать. Ты смотри, я не курю в течение года, я не пью, веду размеренный образ жизни, второй год лечусь...

То он курил, то бросал курить, пьяным не бывал никогда, но "Записок офицера" так и не написал... "Построено на ужасе", не верю, чтобы я мог изобразить "благодушный организм", а с другой стороны — "у меня там положительный тип будет", "здоровая вещь со счастливым концом" — вот обычный диапазон его настроений, повторяющийся мотив при наших встречах... Мне всегда думалось, что после первых своих вещей, в которых он так откровенно сказал о "великой грусти", он как бы спрятался, надев комическую маску. Но и в прорези этой маски глядели умные и печальные глаза автора, то добрые, то злые, меняющие свое выражение часто и резко, в зависимости от того, что видели они, и как отозвалось ви́дение на душе автора».[27])

Но не нужно чужих свидетельств: достаточно прочитать зощенковскую повесть «Перед восходом солнца» и предшествующую ей «Возвращенную молодость»: «...Я попросту не мог сидеть на одном месте из-за склонности к ипохондрии и меланхолии»... «Эти мои медицинские рассуждения не списаны с книг. Я был такой собакой, над которой произвел все опыты».[28])

Чтобы избавиться от душевной подавленности, вызван-

---

[27]) М. Слонимский. Из воспоминаний о Михаиле Зощенко. «Звезда», 1965, № 8, стр. 205.

[28]) М. Зощенко. Возвращенная молодость. Изд. Писателей в Ленинграде, 1934, стр. 191, 194.

ной тяжкой действительностью, — нужно художнически претворить эту действительность, перенести свои тяжкие переживания в область творчества — сублимировать их. Чаще и лучше всего — транспонировать трагическое и безысходное — в комическое. Чтобы излечиться от еще большей подавленности, от состояния отчаяния и безнадежности, следует припомнить, воскресить в своей памяти те происшествия, которые могли — будучи даже не вполне осознанными — травмировать нашу душу, оставить в ней неизживаемый след. Это — один из краеугольных камней психотерапии Фрейда, и Михаил Зощенко начинает свое душевное воссоздание, свое самоизлечение с изучения теорий Фрейда и И. П. Павлова, трудов психологов, психофизиологов, рефлексологов, психиатров. Он тщательно штудирует дневники великих людей, начинает сам писать рассказы и повести, посвященные вопросам «Врачевания и психики». Так назван его рассказ, написанный в 1933 году, при чем само название ясно указывает на натолкнувшую Зощенко написать этот рассказ книгу: в 1932 г. вышла в русском переводе книга Стефана Цвейга «Врачевание и психика» (по-немецки она вышла в предыдущем — 1931 — году). Книга была посвящена очеркам о Мессмере, Мэри Бекер Эдди и Зигмунде Фрейде, и основной ее идеей было «лечение посредством духа». Но сама идея подобного лечения приходила на ум Зощенко и раньше. Проблески ее заметны, например, в рассказах «Матренища» (1926) и «Медицинский случай» (1928). В последнем рассказе лекарь-самоучка лечит потерявшую дар речи девочку прямо-таки по Фрейду: «У вашей малютки прекратился дар речи через сильный испуг. И я, говорит, так мерекаю. Ну-те, я ее сейчас обратно испугаю. Может она, сволочь такая, снова у меня заговорит». И опыт в какой-то мере удается: «А девочка действительно заговорила. Действительно верно, она немного в уме свихнулась, немножко она такая стала придурковатая, но говорит, как пишет». Иронический конец не должен нас смущать: Зощенко до конца и верит Фрейду (хотя тщательно — страха ради коммунистического — это скрывает: Фрейд в СССР не в фаворе) — и сомневается в нем, усматривая не без основания некоторую односторонность его психоанализа. Да и сама природа его, как писателя-юмориста, предрасполагает к иронии... Но в написанном в тридцатых годах рассказе «Личная жизнь» Зощенко

почти безоговорочно расписывается в своем «фрейдизме»: «Один буржуазный экономист или, кажется, химик высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы ни делаем, мы делаем для женщин. И, стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры и покупка пальто и так далее и тому подробное, — все это делается ради женщины. Ну, это он, конечно, перехватил немного, заврался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен».[29]) Наконец, в 1933 году, Зощенко пишет упомянутый выше рассказ «Врачевание и психика», тоже иронический, но тоже затрагивающий «фрейдистскую» тематику. В этом рассказе врач говорит пациенту: «Пилюль я вам не дам, — это только вред приносит. Я держусь новейшего метода лечения. Я нахожу причину и с ней борюсь... Я вам задаю вопрос, — не было ли у вас какого-нибудь потрясения? Припомните». В этих словах — уже ключ к основной теме повести «Перед восходом солнца». И пусть рассказу дан не только иронический, но просто издевательский конец: гротесковый поворот — частый художественный прием Зощенко. Но все направление повести «Перед восходом солнца», вся ее тема свидетельствуют о серьезнейшем отношении Зощенко к проблемам «врачевания и психики», к проблемам психоанализа. Этот серьезнейший ж и з н е н н ы й интерес к этим проблемам, личная заинтересованность в них ярко выражена и в ряде упомянутых выше рассказов, как бы иронично не было их разрешение, и в письмах и разговорах Зощенко тех лет. Проблемы долголетия, борьбы со старостью и болезнями почти целиком захватывают Зощенко. Уже во второй половине 20-х годов он много говорит и пишет об этом. Характерно его письмо к Максиму Горькому, датированное 28 сентября 1927 г.:

«Сердечно поздравляю Вас, дорогой и многоуважаемый Алексей Максимович!

Очень желаю Вам здоровья и долгой жизни, которая, мне думается, зависит главным образом от воли человека. Я прочел у Гете замечательную фразу. Когда умер один из его друзей — 70-летний старик З. — Гете сказал: "Я удивля-

---

[29]) М. Зощенко. Повести и рассказы. Изд. им. Чехова, Нью-Йорк, 1952, стр. 385.

юсь, как это у людей не хватает храбрости жить дольше". Стало быть, Гете считал, что для долгой жизни надо только иметь желание и как бы представление, уверенность в том, что жить можно долго и даже сколько угодно. И теперь всякий раз, читая о долгой жизни какого-нибудь великого старика, я прихожу к мысли, что это именно так, и что человек, проживший 60-70 лет, либо просто животное, либо очень мудрый человек, который собственными руками делал свою жизнь, управлял собой и регулировал свой организм, как, скажем, рабочий регулирует свой станок. Я хотел бы Вас спросить, как Вы думаете, — верно ли это? Верно ли, что люди часто создают себе философию (как, например, Л. Толстой), которая не идет вразрез ни с собственными силами, ни с возможностью жить долго. Или я заблуждаюсь. И люди живут как придется, по временам советуясь с врачами о своих недомоганиях и кушая пилюли, которые поддерживают жизнь. Мне все же кажется, что это не так. Я не хотел бы Вас затруднять ответом, дорогой Алексей Максимович. Но, если когда-нибудь на досуге у Вас будет охота (хоть через год), ответьте мне хотя бы коротеньким письмом. Мне очень важно это обстоятельство.

Михаил Зощенко».[30])

Вопрос о борьбе с одряхлением, с ослаблением жизненных сил, с хандрой и болезнями так горячо занимает Зощенко, что он более десяти лет посвящает тщательному и серьезному изучению этих проблем. Прямо ссылаться на Фрейда и психоанализ он, конечно, не может: весьма популярный в России до середины 20-х годов, много переводившийся и издававшийся в России до и после революции, создавший и в России свою многочисленную школу (до второй половины 20-х годов выходили не только произведения самого Фрейда и его последователей на Западе, но и большая серия книг русских психоаналитиков под редакцией проф. Ермакова), Зигмунд Фрейд с 1927-1928 годов стал в СССР мишенью грубейших и безграмотнейших нападок. Затем его предпочли просто замалчивать...

---

[30]) Литературное Наследство. Том 70: Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Изд. Академии Наук СССР, Москва, 1963, стр. 157-158.

А то, что Фрейд во главу угла ставит половое влечение, приводит в бешенство Ждановых и всех вообще святых Антониев марксистско-ленинского пуританизма. Вспомним, как Жданов набросился на Зощенко только за легкое касание в повести «Перед восходом солнца» вопроса плотской любви... А в книге Е. Усиевич, уже цитированной нами, автор с пеной у рта набрасывается на Пильняка за то, что тот осмелился на «поиски человеческого». Хотя здесь говорится не о Зощенко, а о Борисе Пильняке, иеримиады советского критика так характерны и так приложимы к травле Зощенко, что трудно удержаться от небольшой цитаты: «Женщина у нас живет с мужчиной, чтобы иметь в нем друга, товарища, а не только чтобы иметь "логовище", в котором был бы "мужчина, муж, отец моего ребенка, который поймет все, что я чувствую... пол которого будет для меня так же свят, как мой для него". Итак, материнство — святое, как у суки. Муж, детеныши, "логовище" и... святой пол. Вот то человеческое, что желает спасти Борис Пильняк. Для того, чтобы возвестить миру это "новое" евангелие, ему и понадобилось оклеветать людей социалистического общества...».[31]) Темы пола запретны. Сексуальной жизни у людей социалистической родины быть, очевидно, не должно. Разве только в качестве некоего слабого прибавления к составлению графика выполнения производственного плана... Где уж тут быть последователем Фрейда! Поэтому нужно было — да сейчас нужно — всячески от Фрейда открещиваться, подменяя его объявленным непогрешимым, канонизированным партией и правительством Иваном Петровичем Павловым. Но Фрейд все время выставляет свое умное и проницательное лицо из-за ширм, не вполне ловко поставленных Зощенко в его повестях «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца».

Несомненно, причислять Зощенко к правоверным фрейдистам было бы неосновательно. Зощенко коробило то исключительное значение, которое Фрейд придавал половому влечению, игнорируя другие стороны человеческой психики, как «светлой точки сознания», так и подсознательного. Но что половое влечение расценивалось Зощенко в качестве основополагающего фактора — свидетельствует

---

[31]) Е. Усиевич. Писатели и действительность. ГИХЛ, Москва, 1936, стр. 162.

самая большая (из законченных и опубликованных) повесть Зощенко — «Возвращенная молодость». Опубликована она была в ленинградском журнале «Звезда», в июньском, августовском и октябрьском номерах 1933 года, а затем, в декабре того же года, вышла отдельным изданием. Повесть задумана оригинально: как сочетание беллетристического «сюжетного» повествования, занимающего, примерно, треть книги, и обширных научных приложений, не комментариев, а скорее небольших эссеев психоаналитического и психофизиологического, а порою и автобиографического характера, являющихся чуть ли не основой книги. Итак, художественная концепция книги — «научно-художественное» произведение; попытка спаять воедино популярно-научный очерк, вернее, серию очерков, — с полуюмористической-полулирической повестью. Это повествование должно явиться то ли иллюстрирующими высказанные научные положения примерами, то ли некоторым моментом «торможения» в развитии сюжета — как научного, так и художественного, — то ли даже некоторой издевкой над этими самыми научными положениями, в которые автор явно больше стремится верить, чем верит на самом деле. Не трудно заметить, что такая тенденция к слиянию искусства и науки у Зощенко намечалась уже и раньше. Так, он слил свои более ранние рассказы, снабдив их предисловиями, интермедиями и послесловиями исторического, историко-анекдотического, социологического и психологического характера, и создал таким образом свою «Голубую книгу». Но как «Голубая книга», так и «Возвращенная молодость» к творческим удачам автора отнесены быть не могут. Но отзывы о «Возвращенной молодости» были в большинстве случаев хорошими,[32]) главным образом из-за того, что в комментариях весьма часто фигурировал И. П. Павлов, к тому времени занявший место на советском Олимпе рядом с Марксом-Энгельсом-Лениным-Сталиным-

---

[32]) Укажем некоторые из рецензий: Г. Мунблит. Как важно быть серьезным. «Литературная Газета», 20 февраля 1934; Б. Бегак. Повесть и комментарии к ней. Там же, 18 марта 1934; Б. Рест. Победа или поражение? Там же, 26 марта 1934; Н. Семашко. Можно ли возвратить молодость? Там же, 6 апреля 1934; Б. Рест. Возвращенная молодость. Там же, 14 мая 1934; Ц. Вольпе. О Возвращенной молодости М. Зощенко. «Звезда», 1934, № 8, стр. 161-171; А. Горелов. В поисках формулы молодости. В кн.: Испытание временем. Ленинград, 1935, стр. 89-98.

Мичуриным... Следует указать, что художественные и научные элементы «Возвращенной молодости» оказались несбалансированными, никак не слились воедино. Однако значение этой повести в том, что она послужила трамплином для еще более серьезных десятилетних занятий Зощенко проблемами психоанализа — и для обращения к жанру откровенно автобиографической повести, ярко выраженной психоаналитической и почти неприкровенно фрейдистской, каковой является предлагаемая вниманию читателей повесть «Перед восходом солнца». Кроме того, появление в печати «Возвращенной молодости» привело Зощенко в более или менее тесное соприкосновение с кругами ученых — психологов, физиологов, врачей. О повести устраивались дискуссии в «Доме Ученых», в обществах врачей, академик И. П. Павлов пригласил Зощенко участвовать в своих дискуссионных «средах».

«Возвращенная молодость» — в сюжетной ее части — рассказывает о стареющем, хандрящем профессоре 53 лет, обретшем вторую молодость благодаря роману с достаточно пустенькой девятнадцатилетней Тулей, соседкой профессора, «к девятнадцати годам уже успевшей переменить пять мужей и сделать семь или восемь абортов». Автор подчеркнуто не идеализирует эту Тулю, но притом многозначительно прибавляет, характеризуя этот живой элексир молодости: «Нет, она не была продуктом социалистического общества. Она возникла как реакция каких-то таинственных и сложных процессов жизни. Она не укладывалась в рамки советской действительности».[33])

Через десять лет, совсем уже больной, подавленный и измочаленный хандрой, но и во всеоружии накопленных за многие годы знаний в области психоанализа и психофизиологии, Зощенко приступает к повести «Перед восходом солнца». Той повести, которая так ожесточила Жданова и мелких псов советской критической подворотни. Той повести, которая бесспорно является лучшим, наиболее зрелым произведением автора. О, он отлично знал, как накинутся на него критики и партийные небожители! Предвидя это, он — в предисловии к повести — рассказал, как он сначала соби-

---

[33]) М. Зощенко. Возвращенная молодость. Изд. Писателей в Ленинграде, 1934, стр. 45.

рался засесть за обработку собранных за десятилетие материалов, засесть за писание этой повести сразу после окончания войны. Но война затягивалась. «Однако, почему же не пришло время взяться за эту работу? — как-то подумал я. — Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания. Моя работа опровергает "философию" фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье в возврате к варварству, к дикости, к отказу от цивилизации».

Написать эту повесть было нестерпимо трудно. Нет ничего более трудного, чем *искренно* и абсолютно без прикрас писать о самом себе. Трудно избежать при этом невольного *самообмана*. Но перед писателем стояла далеко не только художественная задача: перед ним стояла жизненно важная задача — отыскать, вскрыть те подспудные, таящиеся в непроглядной мгле подсознания трагические происшествия, которые вызвали его теперешнюю хандру, неврастению, отсутствие жизненных импульсов, отсутствие воли к жизни. Он сознательно прибег к методу самоанализа, почти только формально маскируясь «условными рефлексами» Павлова. Вскрыть, припомнить, восстановить в памяти — чтобы тем самым избыть, выкорчевать из души, из подсознания то, что его травмировало, чтобы выздороветь душевно и телесно.

Нам, читающим эту повесть сегодня, совершенно непонятно — какую «пошлость», какую «гнусность», какую клевету на человека и на женщину в частности могли находить в повести Ждановы больших и малых калибров. Напротив, повесть исключительно целомудренна, написана в том ключе рыцарственного отношения к женщине, которое отличает, например, дневниковые записи Блока. Даже кристально-ясная заметочная пестрядь Розанова менее чиста, более замутнена неким напором плотяности. Но советским Торквемадам неугодно даже упоминание о существовании пола и совокупления. Очевидно, любящие только и должны рассуждать, как в романах соцреалистов, о перевыполнении планов, о своевременной отгрузке необходимых для производства деталей и сырья, о бдительности и о засевших на заводе или в колхозе шкурниках и врагах народа. Зощенко пытался писать и в этом плане. Теперешние сборники его избранных произведений переполнены этим шлаком — его

неудачными, но «созвучными» произведениями. Но иногда он не мог стерпеть — и срывался. «Вспоминаю, — пишет хорошо его знавший Михаил Слонимский, — как один литератор, восхищаясь строительством новых городов и заводов, вымолвил такое: — Все-таки главное — это города, дома, машины, а не люди. — Глаза у Зощенко стали как замороженные: неподвижные, чужие, злые: — Значит, коробка важней человека?».[34]) Нет, человек, живой, неприкрашенный человек — герой всех лучших произведений Зощенко. А герой, центральный персонаж его повести «Перед восходом солнца» — он сам. Он сам пишет о том, с какой натугой, с каким трудом дается ему эта дорога в самого себя, это его самораскрытие. И построена повесть концентрическими кругами: как Данте, руководимый Вергилием, спускается все глубже и глубже в преисподнюю, от верхних ее концентрических кругов до самых нижних, поддонных, так и Зощенко, руководимый методом психоанализа, на этот раз очень художественно претворенным в высокую автобиографическую прозу, спускается все глубже и глубже в свое подсознание, идя от того, что ясно сохранила память о годах молодости, затем юности, отрочества, — к плохо припоминаемому детству и уже окончательно почти забытому и с огромным трудом воссоздаваемому — почти бессознательному — младенчеству...

Метод почти эвристический. Метод живой и сильный, захватывающий читателя. И ничего такого, что напоминало бы навязчивый и никому постороннему неинтересный чистый, эгоистический, сказал бы я, — автобиографизм. Повесть отличается полным чистосердечием, откровенностью. Но все, что в ней рассказывал Зощенко, не только важно для него — и практически-лечебно, и в плане личных воспоминаний. Нет, то, что он пишет, крайне интересно и для других, ибо *общечеловечно*. Это очень трудно — вести рассказ о себе — и в то же время быть интересным для других. Старый умный писатель, Сенковский (Барон Брамбеус) хорошо сказал об этом: «Искусство образованной или изящной беседы состоит в том, чтобы каждый говорил о себе, но так, чтоб другие этого не примечали». Мы не замечаем, что Зощенко говорит в своей опальной повести о *себе* и только о себе. Не замечаем, хотя он и говорит не столько для нас,

---

[34]) М. Слонимский. Из воспоминаний о Михаиле Зощенко. «Звезда», 1965, № 8, стр. 206.

сколько для себя — с целью *уврачевания* своего духа, с целью и телесно-душевного восстановления. Не замечаем потому, что всех нас не может не волновать то, о чем он пишет.

Ждановы — вслед за Лениным — и все соцреалисты, марксисты, ленинцы рассматривают литературу только утилитарно, только как орудие воспитания (преимущественно молодежи) и пропаганды. Они забывают светлый завет Пушкина, высокие слова Блока: «Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайнvю свободу и препятствуя ей выполнять ее таинственное назначение. Мы умираем, а искусство остается. Его конечные цели нам неизвестны и не могут быть известны. Оно единосущно и нераздельно».[35]) Но о повести «Перед восходом солнца» нельзя даже сказать, что она не имеет и утилитарного смысла: она — и высокое искусство — и несомненно *целительна* — и не только для самого автора. Но она несет в себе такой заряд *подлинной человечности*, что не может не возбуждать злобствующих выкриков со стороны коммунистических тартюфов и фарисеев. Мертвецы и скопцы не хотят даже видеть рядом с собою живую, полнокровную жизнь и живую, полнокровную литературу. Но живая жизнь необорима. Она единосущна и нераздельна. И ей, только ей — жить.

Февраль 1967. *Борис Филиппов*

---

[35]) О назначении поэта. В кн.: Александр Блок. Собрание сочинений в 8 томах, том 6, ГИХЛ, Москва-Ленинград, 1962, стр. 167-168.



Михаил Зощенко



Перед восходом солнца

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту книгу я задумал очень давно. Сразу после того как выпустил в свет мою «Возвращенную молодость».

Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги и выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу.

Но этого не случилось.

Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.

Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда.

Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.

Однако, любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью.

В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата.

Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни великой Отечественной войны.

Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал.

По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.

Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, не-

нужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.

— Ничего, — говорил я сам себе, — тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.

Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда по-моему может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда, — вот этого я установить не решался.

— Однако, почему же не пришло время взяться за эту мою работу? — как-то подумал я. — Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания. Моя работа опровергает «философию» фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимые беды, что человеческое счастье в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации.

Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда либо в дальнейшем.

В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе.

I. ПРОЛОГ

За доброе желание к игре
Прощается актеру исполненье

Десять лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость».

Это была обыкновенная повесть, из тех, которые во множестве пишутся писателями, но к ней были приложены комментарии — этюды физиологического характера.

Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека.

Я не писал «Возвращенную молодость» для людей науки, тем не менее именно они отнеслись к моей работе с особым вниманием. Было много диспутов. Происходили споры. Я услышал много колкостей. Но были сказаны и приветливые слова.

Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. Значит, не я много знаю (подумал я), а наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я, в силу своей неопытности, имел смелость затронуть.

Так или иначе, ученые разговаривали со мной почти как с равным. И я даже стал получать повестки на заседания в «Институт мозга». А Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои «среды».

Но я, повторяю, не писал сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью.

Меня всегда поражало: художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше, чем человеческое тело, — его психика, его сознание, — не часто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. И, поучившись, поделился этим с читателем.

Таким образом возникла «Возвращенная молодость».

Сейчас, когда прошло десять лет, я отлично вижу дефекты моей книги: она была неполной и однобокой. И, вероятно, за это меня следовало больше бранить, чем меня бранили.

Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом.

Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал:

— Я предпочитаю ваши обычные рассказы. Но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог и потому не боюсь это сказать.

Я ответил ему:

— Я тоже так думаю. Область сознания, область высшей психической деятельности больше принадлежит нам, чем вам. Поведение человека можно и должно изучать с помощью собаки и ланцета. Однако у человека (и у собаки) иногда возникают «фантазии», которые необычайным образом меняют силу ощущения даже при одном и том же раздражителе. И тут иной раз нужен «разговор с собакой», для того чтобы разобраться во всей сложности ее фантазии. А «разговор с собакой» — это уже целиком наша область.

Улыбнувшись, ученый сказал:

— Вы отчасти правы. Соотношение часто не одинаково между силой раздражения и ответом, тем более в сфере ощущения. Но если вы претендуете на эту область, то именно здесь вы и встретитесь с нами.

Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготовляю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе.

Я сказал:

— Вкратце — это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым.

— Это будет трактат или роман?

— Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история.

— Снова будут комментарии?

— Нет. Это будет нечто целое. Подобно тому, как пушка и снаряд могут быть одним целым.

— Стало быть, эта работа будет о вас?

— Пол книги будет занято моей особой. Не скрою от вас — меня это весьма смущает.

— Вы будете рассказывать о своей жизни?

— Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет итти о моих молодых годах. Это все равно, что говорить об умершем.

— До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?

— Примерно до тридцати лет.

— Может быть есть резон прикинуть еще лет пятнадцать? Тогда книга будет полней — о всей вашей жизни.

— Нет, — сказал я. — С тридцати лет я стал совсем другим человеком — уже не годным в объекты моего сочинения.

— Разве произошла такая перемена?

— Это даже нельзя назвать переменой. Возникла совсем иная жизнь, вовсе не похожая на то, что было.

— Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд?

— Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея.

— А что сами вы сделали?

— Я сделал в сущности простую вещь: — я убрал то, что мне мешало, — неверные условные рефлексы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал «временные связи», как называл их Павлов.

— Каким образом?

В то время я неполностью продумал мои материалы и поэтому затруднился ответить на этот вопрос. Но о принципе рассказал. Правда, весьма туманно.

Задумавшись, ученый ответил:

— Пишите. Только ничего не обещайте людям.

Я сказал:

— Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам. И только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим.

Рассмеявшись, ученый сказал:

— Это немного. И это правильно. Философия Толстого, например, была полезна только ему и никому больше.

Я ответил:

— Философия Толстого была религия, а не наука. Это

была вера, которая ему помогла. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле: я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось.

Я расстался с ученым и с тех пор больше его не видел. Вероятно, он решил, что я забросил мою книгу, не справившись с ней.

Но я, — как уже доложено вам, — выжидал спокойного года.

Этого не случилось. Очень жаль. Под грохот пушек я пишу значительно хуже. Красивость, несомненно, будет снижена. Душевные волнения поколеблют стиль. Тревоги погасят знания. Нервность воспримется как торопливость. В этом усмотрится небрежность к науке, непочтительность к ученому миру...

Ученый!
Где речь неучтивой увидишь мою, —
Сотри ее, я позволенье даю.

Пусть просвещенный читатель простит мои прегрешения.

II. Я НЕСЧАСТЕН — И НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ

О горе! Бежать от блеска солнца
И услады искать в тюрьме,
При свете ночника...

Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.

Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.

В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.

Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.

Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч... Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.

Я был несчастен, не зная почему.

Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.

«Мир ужасен, — подумал я. — Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада».

Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:

Высший дар нерожденным быть,
Если ж свет ты увидел дня —
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись родное небытия.

Конечно, я знал, что бывают иные взгляды — радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.

Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.

Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.

«Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа»,

— бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора.

Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного», — писал Кант. А Аристотель считал, что «меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения».

Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни.[1])

Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой и я был родом.

Значит, меланхолия, — думал я, — есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума. Видимо — всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного.

Очень печально, если это так. Но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани. Торжествуют грубые чувства, примитивные мысли. Все, что истончилось, — погибает.

Так думал я в свои восемнадцать лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже.

Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке.

Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни.

Я хотел умереть, так как не видел иного исхода.

Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину.

Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам. Но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым.

Я подумал: отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей и вот почему перестал хандрить. Это было логично.

---

[1]) Недавно перелистывая «Дневник» В. Брюсова, я нашел такие строчки: «Хорош Ярошенко. Милый человек. Чужд жизни...».

Я служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось.

В девятнадцать лет я был уже поручиком.

В двадцать лет — имел пять орденов и был представлен в капитаны.

Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях.

Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце. Тем не менее радостное мое состояние почти не исчезало.

В начале революции я вернулся в Петроград.

Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтоб вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, — склонные к хандре, меланхолии и грусти.

Никаких так называемых «социальных расхождений» я не испытывал. Тем не менее я стал попрежнему испытывать тоску.

Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.

Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан — в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград...

Хандра следовала за мной по пятам.

За три года я переменил двенадцать городов и десять профессий.

Я был — милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем...

Это было не твердое шествие по жизни, это было — замешательство.

Полгода я снова провел на фронте в Красной Армии — под Нарвой и Ямбургом.

Но сердце было испорчено газами, и я должен был думать о новой профессии.

В 1921 году я стал писать рассказы.

Моя жизнь сильно изменилась оттого, что я стал писателем. Но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня.

Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью.

Врачи взялись за меня энергично.

От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой — вовнутрь и снаружи.

Хандру же было решено изгонять комбинированным ударом — сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и в лоб — путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте.

Два раза в год я стал выезжать на курорты — в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места.

В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в которую он влезал, оттого что его мучила беспричинная тоска.

С чувством величайшего почтения я стал беседовать с этим человеком. Я предполагал увидеть мудрость, ум, переполненный знаниями, и скорбную улыбку гения, который должен уживаться на нашей бренной земле.

Ничего подобного я не увидел.

Это был недалекий человек, необразованный и даже без тени просвещения. За всю свою жизнь он прочитал не более двух книг. И, кроме денег, еды и баб, он ничем другим не интересовался.

Передо мной был самый заурядный человек, с пошлыми мыслями и с тупыми желаниями.

Я не сразу даже понял, что это так. Сначала мне показалось, что в комнате накурено, или барометр упал — предвещает бурю. Как то мне было не по себе, когда я с ним разговаривал. Потом смотрю — просто дурак. Просто дубина, с которым больше трех минут нельзя разговаривать.

Моя философская система дала трещину. Я понял, что дело не только в высоком сознании. Но в чем же тогда? Я не знал.

С величайшим смирением я отдался в руки врачей.

За два года я съел полтонны порошков и пилюль.

Я безропотно пил всякую мерзость, от которой меня тошнило.

Я позволил себя колоть, просвечивать и сажать в ванны.

Однако лечение успеха не имело. И даже вскоре дошло до того, что знакомые перестали узнавать меня на улице. Я безумно похудел. Я был, как скелет, обтянутый кожей. Все время ужасно мерз. Руки у меня дрожали. А желтизна моей кожи изумляла даже врачей. Они стали подозревать, что у меня ипохондрия в такой степени, когда процедуры излишни. Нужны гипноз и клиника.

Одному из врачей удалось усыпить меня. Усыпив, он стал внушать мне, что я напрасно хандрю и тоскую, что в мире все прекрасно и нет причин для огорчения.

Два дня я чувствовал себя бодрей, потом мне стало значительно хуже, чем раньше.

Я почти перестал выходить из дому. Каждый новый день мне был в тягость.

> День приходил, день уходил —
> Шли годы — я их не считал,
> Я, мнилось, память потерял
> О переменах на земле...

Я еле передвигался по улице, задыхаясь от сердечных припадков и от болей в печени.

На курорты я перестал ездить. Вернее, я приезжал и, промаявшись там два-три дня, снова возвращался домой, еще в более страшной тоске, чем приехал.

Тогда я обратился к книгам. Я был молодым писателем. Мне было всего двадцать семь лет. Естественно, что я обратился к моим великим товарищам — к писателям, музыкантам... Я хотел узнать, не было ли чего подобного с ними. Не было ли у них тоски вроде моей. А если было, то по каким причинам это у них возникало, по их мнению. И как они поступали, чтоб этого у них не было.

И тогда я стал выписывать все, что относилось к хандре. Я стал выписывать без особого учета и мотивировок. Однако, я старался брать то, что было характерно для человека, то что повторялось в его жизни, то что не казалось случайностью, минутным воображением, вспышкой.

Эти выписки поразили мое воображение на несколько лет.

«...Я выхожу из дому, иду на улицу, тоскую и опять возвращаюсь домой. Зачем? Затем, чтоб хандрить...».

(Шопен. 1830 г., Письма)

«Я не знал куда деваться от тоски. Я сам не знал, откуда происходит эта тоска...».

(Гоголь — матери, 1837 г.)

«У меня бывают припадки такой хандры, что боюсь, что брошусь в море. Голубчик мой! Очень тошно...».

(Некрасов — Тургеневу, 1857 г.)

«Мне так худо, так страшно безнадежно худо и в теле и в духе, что я не могу жить...».

(Эдгар По — Анни, 1848 г.)

«Я испытываю такую угнетенность духа, какую я раньше еще не испытывал. Я напрасно боролся против влияния этой меланхолии. Я несчастен и не знаю почему...».

(Эдгар По — Кеннеди, 1835 г.)

«В день двадцать раз приходит мне на ум пистолет. И тогда делается при этой мысли легче...».

(Некрасов — Тургеневу, 1857 г.)

«Все мне опротивело. Мне кажется, я бы с наслаждением сейчас повесился, — только гордость мешает...».

(Флобер, 1853 г.)

«Я живу скверно, чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться...».

(Салтыков-Щедрин — Пантелееву, 1886 г.)

«К этому присоединилась такая тоска, которой нет описания. Я решительно не знал, куда девать себя, к чему прислониться...».

(Гоголь — Погодину, 1840 г.)

«Так все отвратительно в мире, так невыносимо... Скучно жить, говорить, писать...».

(Л. Андреев. Дневник, 1919 г.)

«Чувствую себя усталым, измученным до того, что чуть не плачу с утра до вечера... Раздражают лица друзей... Ежедневные беседы, сон на одной и той же постели, собственный голос, лицо, отражение его в зеркале...».

(Мопассан. «Под солнцем», 1881 г.)

«Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение».

(Гоголь — Плетневу, 1846 г.)

«Я устал, устал ото всех отношений, все люди меня утомили и все желания. Уйти куда-либо в пустыню или уснуть «последним сном».

(В. Брюсов. Дневник, 1898 г.)

«Я прячу веревку, чтоб не повеситься на перекладине в моей комнате, вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтоб не подвергнуться искушению застрелиться. Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом».

(Л. Н. Толстой, 1878 г.
«Правда о моем отце», Л. Л. Толстой)

Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние.

Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди. Откуда оно берется? И как с ним бороться, какими средствами?

Может быть, это страдание возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов? Может быть, это создает почву для такой тоски?

Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского: «Не от мировых вопросов люди топятся, стреляются и сходят с ума».

Эти слова меня еще более смутили.

Я не мог найти никакого решения. Я не понимал.

Может быть, все-таки (снова подумал я) это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания?

Нет! Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким. И даже этих людей было значительно больше.

На вечере, посвященном Шопену, исполняли его «Второй концерт для фортепьяно с оркестром».

Я сидел в последних рядах, утомленный, измученный.

Но «Второй концерт» прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал.

Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта.

Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я так теперь хорошо знал? — подумал я. — Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было? И только было сковано? Чем?

Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце.

Не скрою от вас: я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину — отчего скованы мои силы и почему мне так невесело в жизни; и почему бывают такие люди, как я, — склонные к меланхолии и беспричинной тоске.

Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту. И заставил себя пробыть там четыре недели.

Десять дней я пролежал в номере гостиницы. Затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы. И иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо.

Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело.

Чтоб еще более укрепить мое здоровье, я решил про-

должить отдых. Я взял билет на теплоход, чтобы доехать до Батума. Из Батума я хотел ехать в Москву прямым поездом.

Я взял отдельную каюту. И в чудесном настроении уехал из Ялты.

Море было тихое, безмятежное. И я весь день просидел на палубе, любуясь берегом Крыма и морем, которое я так любил и ради которого я обычно приезжал в Ялту.

Утром, чуть свет, я снова был на палубе.

Вставало изумительное утро.

Я сидел в шезлонге, наслаждаясь своим прекрасным состоянием. Мысли у меня были самые счастливые, даже веселые. Я думал о своем путешествии, о Москве, о друзьях, которых там встречу. О том, что тоска моя теперь позади. И пусть она будет загадкой, только чтоб ее больше не было.

Было раннее утро. Задумчиво я глядел на легкую рябь воды, на блики солнца, на чаек, которые с омерзительным криком садились на воду.

И вдруг в одно мгновение я почувствовал себя плохо. Это была не только тоска. Это было волнение, трепет, почти страх. Я еле мог встать с шезлонга. Я еле дошел до каюты. Я два часа лежал на койке не двигаясь. И снова возникла тоска в такой степени, какой я до сих пор не испытывал.

Я пробовал бороться с этим. Я вышел на палубу. Стал прислушиваться к разговорам людей. Я хотел отвлечься. Но мне не удавалось.

Показалось, что я не должен и не могу больше продолжать путешествие.

Я еле дождался Туапсе. И сошел на берег, с тем чтоб через несколько дней продолжить мой путь.

Меня трепала нервная лихорадка.

На линейке я доехал до гостиницы. И там слег.

Усилием воли, только через неделю, я заставил себя собраться в дорогу.

Дорога меня отвлекла и рассеяла. Я стал чувствовать себя лучше. Ужасная тоска исчезла.

Путь был далекий, и я стал думать о своей несчастной болезни, которая способна исчезать так же быстро, как и возникнуть. Почему? И какие были причины?

Или причин не было?

Как будто бы никаких причин не было. Должно быть,

просто «слабость нервов», излишняя «чувствительность». Должно быть, это обычно и колеблет меня, как часовой маятник.

Я стал думать: родился ли я таким слабым и чувствительным или в моей жизни что-нибудь случилось такое, что повредило мои нервы, испортило их и сделало меня несчастной пылинкой, которую гонит и мотает любой ветер?

И вдруг мне показалось, что я не мог родиться таким несчастным, таким беззащитным. Я мог родиться слабым, золотушным, я мог родиться с одной рукой, с одним глазом, без уха. Но родиться, чтоб хандрить, и хандрить без причины — оттого, что мир кажется пошлым! Но я же не марсианин. Я дитя своей земли. Я должен, как и любое животное, испытывать восторг от существования. Испытывать счастье, если все хорошо. И бороться, если плохо. Но хандрить?! Когда даже насекомое, которому дано всего четыре часа жизни, ликует на солнце! Нет, я не мог родиться таким уродом.

И вдруг я понял ясно, что причина моих несчастий кроется в моей жизни. Нет сомнения — что-то случилось, что-то произошло такое, что подействовало на меня угнетающим образом.

Но что? И когда случилось? И как искать это несчастное происшествие? Как найти эту причину моей тоски?

Тогда я подумал: надо вспомнить мою жизнь. И я стал лихорадочно вспоминать. Но сразу понял, что из этого ничего не выйдет, если не внести какую-нибудь систему в мои воспоминания.

Нет нужды все вспоминать, — подумал я. Достаточно вспомнить только самое сильное, самое яркое. Достаточно вспомнить только то, что было связано с душевным волнением. Только тут и могла лежать разгадка.

И тогда я стал вспоминать наиболее яркие картины, оставшиеся в моей памяти. И увидел, что память сохранила их с необычайной точностью. Сохранились мелочи, детали, цвет, даже запах.

Душевное волнение, как свет магния, осветило то, что произошло. Это были моментальные фотографии, оставшиеся на память в моем мозгу.

С необычайным волнением я стал изучать эти фотографии. И увидел, что они меня волнуют больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.

III. ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ

Жизнь каждого все то же повторяет,
Что до него и прежде совершалось.
И человек, в прошедшее вникая,
Предсказывать довольно верно может
Ход будущих событий...

Итак, я решил вспомнить мою жизнь, чтобы найти причину моих несчастий.

Я решил найти событие, или ряд событий, которые подействовали на меня угнетающе и сделали меня несчастной пылинкой, уносимой любым дуновением ветра.

Для этого я решил вспомнить только самые яркие сцены из моей жизни, только сцены, связанные с большим душевным волнением, правильно рассчитав, что только тут и лежит разгадка.

Однако нет нужды вспомнить детские годы, — подумал я. — Какие там могут быть особые душевные волнения у мальчишки. Подумаешь, великие дела! Потерял три копейки. Ребята побили. Штаны разорвал. Украли ходули. Учитель единицу поставил... Вот вам и все потрясения детского возраста. Лучше я вспомню, — подумал я, — сцены из моей сознательной жизни. Тем более, что я захворал не в детские годы, а уже будучи взрослым. Начну лет с шестнадцати, — подумал я.

И тогда я стал вспоминать наиболее яркие сцены, начиная с шестнадцати лет.

1912-1915

О, сказкой ставшая воскреснувшая быль!

О, крылья бабочки, с которых стерлась пыль!

Я занят

Двор. Я играю в футбол. Мне уже наскучило играть, но я играю, украдкой поглядывая на окно второго этажа. Мое сердце сжимается от тоски.

Там живет Тата Т. Она взрослая. Ей двадцать три года. У нее старый муж. Ему сорок лет. И мы — гимназисты — всегда подтруниваем над ним, когда он, немного сутулый, возвращается со службы.

И вот открывается окно. Тата Т. поправляет свою прическу, потягиваясь и зевая.

Увидев меня, она улыбается.

Ах, она очень хороша. Она похожа на молодую тигрицу из зоологического сада — такие же яркие, сияющие, ослепительные краски. Я почти не могу на нее смотреть.

Улыбаясь, Тата Т. говорит мне:

— Мишенька, зайдите ко мне на минутку.

Мое сердце колотится от счастья, но, не поднимая глаз, я отвечаю:

— Вы же видите — я занят. Играю в футбол.

— Тогда подставьте свою фуражку. Я вам что-то брошу.

Я подставляю свою гимназическую фуражку. И Тата Т. бросает в нее маленький сверток, перевязанный ленточкой. Это шоколад.

Я прячу шоколад в карман и продолжаю играть.

Дома я съедаю шоколад. И ленточку, приложив на минуту к щеке, прячу в стол.

Письмо

Столовая. Коричневые обои. Хрустальная солонка в виде перевернутой пирамиды.

За столом сестры и мать.

Я задержался в гимназии, опоздал, и они начали обедать без меня.

Переглядываясь между собой, сестры тихонько смеются.

Я сажусь на свое место. У моего прибора письмо.

Длинный конверт сиреневого цвета. Необычайно душистый.

Дрожащими руками я разрываю конверт. И вынимаю еще более душистый листок. Запах от листка так силен, что сестры, не сдерживаясь, прыскают от смеха.

Нахмурившись, я читаю. Буквы прыгают перед моими глазами.

«О, как я счастлива, что с вами познакомилась...», — запоминаю я одну фразу и мысленно ее твержу.

Встречаюсь со смеющимися глазами матери.

— От кого? — спрашивает она.

— От Нади, — сухо, почти сердито отвечаю я.

Сестры веселятся еще больше.

— Не понимаю, — говорит старшая сестра, — жить в одном доме, видеться каждый день и еще при этом писать письма. Смешно. Глупо.

Я грозно гляжу на сестру. Молча глотаю суп и ем хлеб, пропитанный запахом духов.

Свидание

Петербург. Каменноостровский проспект. Памятник «Стерегущему». Два матроса у открытого кингстона. Бронзовая вода льется в трюм.

Не отрываясь я смотрю на бронзовых матросов и на бронзовый поток воды. Мне нравится этот памятник.

Я люблю смотреть на эту трагическую сцену потопления корабля.

Рядом со мной на скамье гимназистка Надя В. Нам обоим по шестнадцать лет.

Надя говорит:

— Вообще я полюбила вас напрасно. Решительно все девочки не советовали мне этого делать...

— Но почему же, — спрашиваю я, оторвавшись от памятника.

— Потому что мне всегда нравились веселые, остроумные мужчины... Вы же способны молча сидеть полчаса и больше.

Я отвечаю:

— Я не считаю достоинством говорить слова, которые до меня произносили десятки тысяч людей.

— В таком случае, — говорит Надя, — вы должны меня поцеловать.

Оглядываясь, я говорю:

— Здесь могут увидеть нас.

— Тогда пойдемте в кино.

Мы идем в кино «Молния» и там два часа целуемся.

С подлинным верно

Я выхожу из гимназии и встречаю реалиста Сережу К. Это белобрысый, высокий, унылый юноша.

Нервно покусывая губы, он мне говорит:

— Вчера я окончательно расстался с Валькой П. И — можешь себе представить — она потребовала вернуть все ее письма.

— Надо вернуть, — говорю я.

— Конечно, письма я ей верну, — говорит Сережа, — но я хочу сохранить копии... Кстати, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Мне надо, чтоб ты заверил эти копии...

— Для чего? — спрашиваю я.

— Ну, мало ли, — говорит Сережа, — потом она еще скажет, что вообще не любила меня... А если будут заверенные копии...

Мы подходим к сережиному дому. Сережа — сын бранд-

мейстера пожарной части. И поэтому мне интересно к нему зайти.

Сережа кладет на стол три письма и три, уже заранее переписанные, копии.

Мне не хочется подписывать копии, но Сережа настаивает. Он говорит:

— Мы уже взрослые. Наши детские годы прошли... Я очень прошу тебя подписать.

Не читая, я пишу на каждом листке копий: «С подлинным верно». И подписываю свою фамилию.

В знак благодарности Сережа ведет меня во двор и там показывает мне штурмовую лестницу и пожарные шланги, которые сушатся на солнце.

Пасхальная ночь

Я спешу к заутрене. Стою перед зеркалом, затянутый в гимназический мундир. В левой руке у меня белые лайковые перчатки. Правой рукой я поправляю свой изумительный пробор.

Я не особенно доволен своим видом. Очень юн.

В шестнадцать лет можно было бы выглядеть постарше.

Небрежно набросив на плечи шинель, я выхожу на лестницу.

По лестнице поднимается Тата Т.

Сегодня она удивительно хороша, в своей короткой меховой жакетке, с муфточкой в руках.

— Вы разве не идете в церковь? — спрашиваю я.

— Нет, мы встречаем дома, — говорит она улыбаясь. И, подойдя ко мне ближе, добавляет: — Христос воскресе!.. Мишенька...

— Еще нет двенадцати, — бормочу я.

Обвив мою шею руками, Тата Т. целует меня.

Это не три пасхальные поцелуя. Это один поцелуй, который продолжается минуту. Я начинаю понимать, что это не христианский поцелуй.

Сначала я испытываю радость, потом удивление, потом — смеюсь.

— Что вы смеетесь? — спрашивает она.

— Я не знал, что люди так целуются.

— Не люди, — говорит она, — а мужчины и женщины, дурачок!

Она ласкает рукой мое лицо и целует мои глаза. Потом, услышав, что на ее площадке хлопнула дверь, она поспешно поднимается по лестнице — красивая и таинственная, именно такая, какую я хотел бы всегда любить.

Не вернусь домой

Мы идем в Новую деревню. Нас человек десять. Мы очень взволнованы. Наш товарищ Васька Т. бросил гимназию, ушел из дому и теперь живет самостоятельно, где-то на Черной речке.

Он ушел из восьмого класса гимназии. Даже не дождался выпускных экзаменов. Значит, ему наплевать на все.

Втайне мы восхищены васькиным поступком.

Деревянный дом. Гнилая шаткая лестница.

Мы поднимаемся под самую крышу, входим в васькину комнату.

На железной койке сидит Васька. Ворот его рубахи расстегнут. На столе бутылка водки, хлеб и колбаса. Рядом с Васькой худенькая девушка, лет девятнадцати.

— Вот он к ней и ушел, — кто-то шепчет мне.

Я гляжу на эту тоненькую девушку. Глаза у нее красные, заплаканные. Не без страха она поглядывает на нас.

Васька лихо разливает водку по стаканам.

Я спускаюсь в сад. В саду — старая дама. Это васькина мама.

Грозя вверх кулаком, мамаша визгливо кричит, и ее выкрики молча слушают какие-то тетушки.

— Это все она виновата, эта девчонка! — кричит мамаша. — Не будь ее, Вася никогда не ушел бы из дому.

В окне появляется Васька.

— Да уйдите вы, мамаша, — говорит он. — Торчите тут целые дни. Кроме суеты, ничего не вносите... Идите, идите. Не вернусь домой, сказал вам.

Скорбно поджав губы, мамаша садится на ступеньки лестницы.

Пытка

Я лежу на операционном столе. Подо мной белая, холодная клеенка. Впереди огромное окно. За окном яркое синее небо.

Я проглотил кристалл сулемы. Этот кристалл у меня был для фотографии. Сейчас мне будут делать промывание желудка.

Врач в белом халате неподвижно стоит у стола.

Сестра подает ему длинную резиновую трубку. Затем, взяв стеклянный кувшин, наполняет его водой. Я с отвращением слежу за этой процедурой. Ну, что они меня будут мучить. Пусть бы я так умер. По крайней мере кончатся все мои огорчения и досады.

Я получил единицу по русскому сочинению. Кроме единицы, под сочинением была надпись красными чернилами: «Чепуха». Правда, сочинение на тургеневскую тему — «Лиза Калитина». Какое мне до нее дело?.. Но все-таки пережить это невозможно...

Врач пропихивает в мою глотку резиновый шланг. Все глубже и глубже входит эта отвратительная коричневая кишка.

Сестра поднимает кувшин с водой. Вода льется в меня. Я задыхаюсь. Извиваюсь в руках врача. Со стоном машу рукой, умоляя прекратить пытку.

— Спокойней, спокойней, молодой человек, — говорит врач. — Ну как вам не совестно... Такое малодушие... по пустякам.

Вода выливается из меня, как из фонтана.

В университете

У ворот — полицейский офицер. Кроме входного билета, он требует чтоб я предъявил студенческий матрикул. Я достаю документы.

— Проходите, — говорит он.

Во дворе — солдаты и городовые с ружьями.

Сегодня годовщина смерти Толстого.

Я иду по университетскому коридору. Здесь шум, суета, оживление.

По коридору медленно выступает попечитель учебного округа — Прутченко. Он высокий, крупный, краснолицый. На белой груди под вицмундиром маленькие бриллиантовые запонки.

Вокруг попечителя живая изгородь из студентов, — это студенты академической корпорации, «белоподкладочники». Взявшись за руки, они оцепили попечителя и охраняют его от возможных эксцессов. Командует и больше всех суетится какой-то длинновязый, прыщеватый студент в мундире, со шпагой на боку.

Вокруг шум и ад. Кто-то кричит: «По улицам слона водили». Шутки. Смех.

Попечитель медленно идет вперед. Живая изгородь почтительно движется вместе с ним.

Появляется студент. Он мал ростом. Некрасивый. Но лицо у него удивительно умное, энергичное.

Подойдя к «изгороди», он останавливается. Невольно останавливается и изгородь с попечителем.

Подняв руку, студент водворяет тишину.

Когда становится тише, студент кричит, отчеканивая каждое слово: — «У нас в России две напасти: внизу власть тьмы, вверху — тьма власти».

Взрыв аплодисментов. Хохот.

Длинновязый студент эффектно хватается за эфес шпаги. Попечитель устало бормочет: «Не надо, оставьте...».

Студент со шпагой кому-то говорит: «Узнайте фамилию этого хама...».

Стоило ли вешаться

Повесился студент Мишка Ф. Оставил записку: «Никого не винить. Причина — неудачная любовь».

Я немного знал Мишку. Нескладный. Взъерошенный. Небритый. Не очень умный.

Студенты, впрочем, хорошо относились к нему, — он был легкий, компанейский человек.

Из почтения к его трагедии решили выпить за его упокой.

Собрались в пивной на Малом проспекте.

Сначала спели «Быстры, как волны, все дни нашей жизни». Затем стали вспоминать о своем товарище. Однако никто не мог вспомнить ничего особенного.

Тогда кто-то вспомнил, как Мишка Ф. съел несколько обедов в университетской столовой. Все засмеялись. Стали вспоминать всякие мелочи и чепуху из мишкиной жизни. Хохот поднялся невероятный.

Давясь от смеха, один из студентов сказал:

— Однажды мы собрались на бал. Я зашел за Мишкой. Руки ему не захотелось мыть. Он торопился. Он сунул пальцы в пудреницу и забелил под ногтями черноту.

Раздался взрыв смеха.

Кто-то сказал:

— Теперь понятно, отчего у него была неудачная любовь.

Посмеявшись, снова стали петь «Быстры, как волны». Причем один из студентов всякий раз вставал и рукой подчеркнуто дирижировал, когда песня доходила до слов: «Умрешь — похоронят, как не жил на свете».

Потом мы пели «Гаудеамус», «Вечерний звон», и «Дирлим-бом-бом».

На именинах

Вечер. Я иду домой. Мне очень грустно.

— Студентик! — слышу я чей-то голос.

Передо мной женщина. Она подкрашена и подпудрена. Под шляпкой с пером я вижу простое скуластое лицо и толстые губы.

Нахмурившись, я хочу уйти, но женщина говорит, сконфуженно улыбаясь:

— Я сегодня именинница... Зайдите ко мне в гости — чай пить.

Я бормочу:

— Извините... Мне некогда...

— Я иду со всеми, кто меня приглашает, — говорит женщина. — Но сегодня я решила справить свои именины.

Я решила сама кого-нибудь пригласить. Пожалуйста, не откажитесь...

Мы поднимаемся по темной лестнице, среди кошек. Входим в маленькую комнату.

На столе — самовар, орехи, варенье и крендель.

Мы молча пьем чай. Я не знаю, что мне говорить. И она сконфужена моим молчанием.

— Разве у вас никого нет — друзей, близких?

— Нет, — говорит она, — я приезжая, из Ростова.

Попив чаю, я надеваю пальто, чтоб уйти.

— Неужели я вам так не нравлюсь, что вы даже не хотите остаться у меня? — говорит она.

Мне весело и смешно. Я не чувствую к ней брезгливости. Я целую на прощанье ее толстые губы. И она спрашивает меня:

— Зайдешь еще разок?

Я выхожу на лестницу. Может быть, запомнить ее квартиру? В темноте я считаю, сколько ступенек до ее двери. Но сбиваюсь. Может быть, чиркнуть спичку — взглянуть на номер ее квартиры? Нет, не стоит. Я больше не приду к ней.

Предложение

Я прохожу по вагонам. В руках у меня щипчики для пробивания железнодорожных билетов.

Мои щипчики высекают полумесяц.

Шикарная ветка Кисловодск — Минеральные Воды обслуживается летом студентами. И вот почему я здесь, на Кавказе. Я приехал сюда на заработок.

Кисловодск. Я выхожу на платформу. У дверей вокзала огромный жандарм, с медалями на груди. Он застыл, как монумент.

Вежливо кланяясь и улыбаясь, подходит ко мне кассир.

— Коллега, — говорит он мне (хотя он не студент), — на пару слов... В другой раз вы не пробивайте щипчиками билеты, а возвращайте мне...

Эти слова он произносит спокойно, улыбаясь, как будто речь идет о погоде.

Я растерянно бормочу:

— Зачем?.. Для того чтоб вы их... еще раз продали?..

— Ну да... У меня уже есть договоренность почти со всеми вашими... Доход пополам...

— Мерзавец!.. Вы врете! — бормочу я. — Со всеми?

Кассир пожимает плечами.

— Ну, не со всеми, — говорит он, — но... со многими... А что вас так удивляет? Все так делают... Да разве мог бы я жить на тридцать шесть рублей... Я даже не считаю это преступлением. Нас толкают на это...

Резко повернувшись, я ухожу. Кассир догоняет меня.

— Коллега, — говорит он, — если не хотите — не надо, я не настаиваю... только не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать. Во-первых — никто не поверит. Во-вторых — доказать нельзя. В-третьих — прослывете лжецом, склочником...

Я медленно бреду к дому... Идет дождь...

Я удивлен больше, чем когда-либо в жизни.

Эльвира

Станция «Минутка». У меня тихая комната с окнами в сад.

Мое счастье и тишина длятся недолго. В соседнюю комнату въезжает прибывшая из Пензы актриса цирка Эльвира. По паспорту она — Настя Горохова.

Это здоровенная особа, почти неграмотная.

В Пензе у нее был короткий роман с генералом. В настоящее время генерал приехал с супругой на «Кислые воды». Эльвира приехала вслед за ним, неизвестно на что рассчитывая.

Все мысли Эльвиры с утра до ночи направлены в сторону несчастного генерала.

Показывая свои руки, которые под куполом цирка выдерживали трех мужчин, Эльвира говорит мне:

— Вообще говоря, я могла бы спокойно его убить. И больше восьми лет мне бы за это не дали... Как вы думаете?

— А собственно, что вы от него хотите? — спрашиваю я ее.

— Как что! — говорит Эльвира. — Я приехала сюда исключительно ради него. Я живу тут почти месяц и, как дура, плачу за все сама. Я хочу, чтоб он хотя бы из приличия оплатил бы мне проезд в оба конца. Я хочу написать ему об этом письмо.

За неграмотностью Эльвиры, это письмо пишу я. Я пишу вдохновенно. Мою руку водит надежда, что Эльвира, получив деньги, уедет в Пензу.

Я не помню, что я написал. Я только помню, что когда прочитал это письмо Эльвире, она сказала: «Да, это крик женской души... И я непременно его убью, если он мне ничего не пришлет после этого».

Мое письмо перевернуло все внутренности генерала. И он с посыльным прислал Эльвире пятьсот рублей. Это были громадные и даже грандиозные деньги по тогдашнему времени.

Эльвира была ошеломлена.

— Имея такие деньги, — сказала она, — просто было бы глупо уехать из Кисловодска.

Она осталась. И осталась с мыслями, что только я причина ее богатства.

Теперь она почти не выходила из моей комнаты.

Хорошо, что вскоре началась мировая война. Я уехал.

1915 — 1917

Судьба ко мне добрее отнеслась,
Чем к множеству других...

Двенадцать дней

Я еду из Вятки в Казань за пополнением для моего полка. Еду на почтовых лошадях. Иного сообщения нет. Я еду в кибитке, завернутый в одеяла и в шубы.

Три лошади бегут по снегу. Кругом пустынно. Лютый мороз.

Рядом со мной прапорщик С. Мы вместе с ним едем за пополнением.

Мы едем второй день. Все слова сказаны. Все воспоминания повторены. Нам безумно скучно.

Вытащив из кобуры наган, прапорщик С. стреляет в белые изоляторы на телеграфных столбах.

Меня раздражают эти выстрелы. Я сержусь на прапорщика С. Я грубо ему говорю: — Прекрати... болван!

Я ожидаю скандала, крика. Но вместо этого я слышу жалобный голос в ответ. Он говорит:

— Прапорщик Зощенко... не надо меня останавливать. Пусть я делаю, что хочу. Я приеду на фронт и меня убьют.

Я гляжу на его курносый нос, я смотрю в его жалкие голубоватые глаза. Я вспоминаю его лицо почти через тридцать лет. Он действительно был убит на второй день после того, как приехал на позицию.

В ту войну прапорщики жили в среднем не больше двенадцати дней.

Спать хочется

Мы входим в зал. На окнах малиновые бархатные занавеси. В простенках зеркала в золоченых рамах.

Гремит вальс. Это играет на рояле человек во фраке. У него в петлице астра. Но морда у него — убийцы.

На диванах и в креслах сидят офицеры и дамы. Несколько пар танцует.

Входит пьяный корнет. Поет: «Австрийцы надурачили, войну с Россией начали...».

Все подхватывают песню. Смеются.

Я сажусь на диван. Рядом со мной женщина. Ей лет тридцать. Она толстовата. Черная. Веселая.

Заглядывая в мои глаза, она говорит:

— Потанцуем?

Я сижу, мрачный, хмурый. Отрицательно качаю головой.

— Спать хочется? — спрашивает она. — Тогда пойдем ко мне.

Мы идем в ее комнату. В комнате китайский фонарь.

Китайские ширмочки. Китайские халаты. Это забавно. Смешно.

Мы ложимся спать.

Уже двенадцать. Глаза мои слипаются. Но я не могу заснуть. Мне нехорошо. Тоскливо. Беспокойно. Я томлюсь.

Ей скучно со мной. Она ворочается, вздыхает. Дотрагивается до моего плеча. Говорит:

— Ты не рассердишься, если я ненадолго пойду в зал. Там сейчас играют в лото. Танцуют.

— Пожалуйста, — говорю я.

С благодарностью она меня целует и уходит. Я тотчас засыпаю.

Под утро ее нет, и я снова смыкаю глаза.

Попозже она безмятежно спит, и я, тихонько одевшись, ухожу.

Первая ночь

Я вхожу в избу. На столе керосиновая лампа. Офицеры играют в карты. На походной кровати, покуривая трубку, сидит подполковник.

Я здороваюсь.

— Располагайтесь, — говорит подполковник. И, обернувшись к играющим, почти кричит: — Поручик К.! Восемь часов. Вам пора итти на работу.

Лихого вида поручик, красивый, с тонкими усиками, сдавая карты, отвечает:

— Есть, Павел Николаевич... Сейчас... Вот только доиграю.

Я с восхищением гляжу на поручика. Сейчас ему итти «на работу» — в ночь, в темноту, в разведку, в тыл. Может быть, он будет убит, ранен. А он так легко, так весело и шутливо отвечает.

Просматривая какие-то бумаги, подполковник говорит мне:

— Вот отдыхайте, а завтра и вас «на работу» пошлем.

— Есть, — отвечаю я.

Поручик уходит. Офицеры ложатся спать. Тихо. Я прислушиваюсь к далеким ружейным выстрелам. Это моя первая ночь вблизи от фронта. Мне не спится.

Под утро возвращается поручик К. Он грязный, усталый.

Я сочувственно его спрашиваю:

— Не ранены?

Поручик пожимает плечами.

Я говорю:

— Сегодня мне тоже предстоит «работка».

Улыбаясь, поручик говорит:

— Да вы что думаете, что я на боевую операцию ходил? Я с батальоном ходил на работу. Отсюда три километра, в тыл. Мы там делаем вторую линию укрепления.

Мне ужасно неловко, совестно. Я едва не плачу от досады.

Но поручик уже храпит.

Нервы

Два солдата режут свинью. Свинья визжит так, что нет возможности перенести. Я подхожу ближе.

Один солдат сидит на свинье. Рука другого, вооруженная ножом, ловко вспарывает брюхо. Белый жир необъятной толщины распластывается на обе стороны.

Визг такой, что впору заткнуть уши.

— Вы бы ее, братцы, чем-нибудь оглушили, — говорю я. — Чего ж ее так кромсать.

— Нельзя, ваше благородие, — говорит первый солдат, сидящий на свинье. — Не тот вкус будет.

Увидев мою серебряную шашку и вензеля на погонах, солдат вскакивает. Свинья вырывается.

— Сиди, сиди, — говорю я. — Уж доканчивайте скорей.

— Быстро тоже нехорошо, — говорит солдат с ножом. — Крайняя быстрота сало портит.

С сожалением посмотрев на меня, первый солдат говорит:

— Ваше благородие, война! Люди стонут. А вы свинью жалеете.

Сделав финальный жест ножом, второй солдат говорит:

— Нервы у их благородия.

Разговор принимает фамильярный оттенок. Это не полагается. Я хочу уйти, но не ухожу.

Первый солдат говорит:

— В Августовских лесах раздробило мне кость вот в этой руке. Сразу на стол. Полстакана вина. Режут. А я колбасу кушаю.

— И не больно?

— Как не больно. Исключительно больно... Съел колбасу. «Дайте, — говорю, — сыру». Только съел сыр, хирург говорит: «Готово, зашиваем». — «Пожалуйста», — говорю... Вот вам бы, ваше благородие, этого не выдержать.

— Нервы слабые у их благородия, — снова говорит второй солдат.

Я ухожу.

Атака

Ровно в двенадцать ночи мы выходим из окопов. Очень темно. В руках у меня наган.

— Тише, тише, — шепчу я, — не гремите котелками.

Но грохот унять невозможно.

Немцы начинают стрелять. Досадно. Значит они заметили наш маневр.

Под свист и визг пуль мы бежим вперед, чтобы выбить немцев из их траншей.

Поднимается ураганный огонь. Стреляют пулеметы, винтовки. И в дело входит артиллерия.

Вокруг меня падают люди. Я чувствую, что пуля обожгла мою ногу. Но я бегу вперед.

Вот мы уже у самых немецких заграждений. Мои гренадеры режут проволоку.

Неистовый пулеметный огонь прекращает нашу работу. Нет возможности поднять руку. Мы лежим неподвижно.

Мы лежим час, а может, два.

Наконец телефонист протягивает мне телефонную трубку. Говорит командир батальона:

— Отступайте на прежние позиции.

Я отдаю приказ по цепи.

Мы ползем назад.

Утром в полковом лазарете мне делают перевязку. Рана незначительная. И не пулей, а осколком снаряда.

Командир полка, князь Макаев, говорит мне:

— Я очень доволен вашей ротой.

— Мы ничего не сделали, ваше сиятельство, — сконфуженно отвечаю я.

— Вы сделали то, что требовалось. Ведь это была демонстрация, а не наступление.

— Ах, это была демонстрация?

— Это была просто демонстрация. Мы должны были отвлечь противника от левого фланга. Именно там и было наступление.

Я чувствую в своем сердце невероятную досаду, но не показываю вида.

В саду

Перед балконом дачи — красивая клумба со стеклянным желтым шаром на подставке.

Убитых привозят на телегах и складывают на траву возле этой клумбы.

Они складываются, как дрова, друг на друга.

Они лежат желтые и неподвижные, как восковые куклы.

Сняв стеклянный шар с подставки, гренадеры роют братскую могилу.

У крыльца стоят командир полка и штабные офицеры. Приходит полковой священник.

Тихо. Где-то далеко рявкает артиллерия.

Убитых опускают в яму на полотенцах.

Священник ходит вокруг и произносит слова панихиды. Мы держим руки под козырек.

Могилу утрамбовывают ногами. Водружают крест.

Неожиданно приезжает еще подвода с убитыми.

Командир полка говорит:

— Ну, как же так, господа. Надо было бы вместе.

Фельдфебель, приехавший на телеге, рапортует:

— Не всех сразу нашли, ваше сиятельство. Эти были на левом краю, в лощине.

— Что же делать? — говорит командир.

— Разрешите доложить, ваше сиятельство, — говорит фельдфебель, — нехай эти полежат. Может, завтра будет еще. И тогда вместе захороним.

Командир согласен. Убитых относят в сарай.

Мы идем обедать.

Полк в мешке

Полк растянулся по шоссе. Солдаты измучены, устали. Второй день, почти не отдыхая, мы идем по полям Галиции.

Мы отступаем. У нас нет снарядов.

Командир полка приказывает петь песни.

Пулеметчики, гарцуя на лошадях, запевают «По синим волнам океана».

Со всех сторон мы слышим выстрелы, взрывы. Такое впечатление, будто мы в мешке.

Мы проходим мимо деревни. Солдаты бегут к избам. У нас приказ — уничтожить все, что на шоссе.

Это мертвая деревня. Ее не жалко. Здесь нет ни души. Здесь нет даже собак. Нет даже ни одной курицы, которые обычно бывают в брошенных деревнях.

Гренадеры подбегают к маленьким избам и поджигают соломенные крыши. Дым поднимается к небу.

И вдруг в одно мгновение мертвая деревня оживает. Бегут женщины, дети. Появляются мужчины. Ревут коровы. Ржут лошади. Мы слышим крики, плач и визг.

Я вижу, как один солдат, только что поджегший крышу, сконфуженно гасит ее своей фуражкой.

Я отворачиваюсь. Мы идем дальше.

Мы идем до вечера. И потом идем ночью. Кругом зарево пожаров. Выстрелы. Взрывы.

Под утро командир полка говорит:

— Теперь я могу сказать. Два дня наш полк был в мешке. Сегодня ночью мы вышли из него.

Мы падаем на траву и тотчас засыпаем.

Прорыв

Я запомнил название этой деревни — Тухла.

Здесь мы наспех вырыли окопы. Но проволочные заграждения натянуть не успели. Колючая проволока в больших мотках лежит позади нас.

Вечером я получаю приказ — идти в штаб. Под свист пуль я иду вместе с моим вестовым.

Я вхожу в землянку штаба полка.

Командир полка, улыбаясь, говорит мне:

— Малыш, оставайтесь в штабе. Адъютант в дальнейшем примет батальон. Вы будете вместо него.

Я ложусь спать в шалаше. Снимаю сапоги в первый раз за неделю.

Рано утром я просыпаюсь от взрыва снарядов. Я выбегаю из шалаша.

Командир полка и штабные офицеры стоят у оседланных лошадей. Я вижу, что все взволнованы и даже потрясены. Вокруг нас падают снаряды, визжат осколки и рушатся деревья. Тем не менее офицеры стоят неподвижно, как каменные.

Начальник связи, отчеканивая слова, говорит мне:

— Полк окружен и взят в плен. Минут через двадцать немцы будут здесь... Со штабом дивизии связи нет... Фронт разорван на шесть километров.

Нервно дергая свои седые баки, командир полка кричит мне:

— Скорей скачите в штаб дивизии. Спросите, какие будут указания... Скажите, что мы направились в обоз, где стоит наш резервный батальон...

Вскочив на лошадь, я вместе с ординарцем мчусь по лесной дороге.

Раннее утро. Солнце золотит полянку, которая видна справа от меня.

Я выезжаю на эту полянку. Я хочу посмотреть, что происходит и где немцы. Я хочу представить себе полную картину прорыва.

Я соскакиваю с лошади и иду на вершину холма.

Я весь сияю на солнце — шашкой, погонами и биноклем, который я прикладываю к своим глазам. Я вижу какие-то далекие колонны и конную немецкую артиллерию. Я пожимаю плечами. Это очень далеко.

Вдруг выстрел. Один, другой, третий. Трехдюймовые снаряды ложатся рядом со мной. Я еле успеваю лечь.

И, лежа, вдруг вижу внизу холма немецкую батарею. До нее не более тысячи шагов.

Снова выстрелы. И теперь шрапнель разрывается надо мной.

Ординарец машет мне рукой. Другой рукой он показывает на нижнюю дорогу, по которой идет батальон немцев.

Я вскакиваю на лошадь. И мы мчимся дальше.

Зря приехал

Карьером я подъезжаю к высоким воротам. Здесь штаб дивизии.

Я взволнован и возбужден. Воротник моего френча растегнут. Фуражка на затылке.

Соскочив с лошади, я вхожу в калитку.

Ко мне стремительно подходит штабной офицер, поручик Зрадловский. Он цедит сквозь зубы:

— В таком виде... Застегните ворот..

Я застегиваю воротник и поправляю фуражку.

У оседланных лошадей стоят штабные офицеры.

Я вижу среди них начальника дивизии, генерала Габаева, и начальника штаба, полковника Шапошникова.

Я рапортую.

— Знаю, — раздраженно говорит генерал.

— Что прикажите передать командиру, ваше превосходительство?

— Передайте, что...

Я чувствую какую-то брань на языке генерала, но он сдерживается.

Офицеры переглядываются. Начальник штаба чуть усмехается.

— Передайте, что... Ну, что я могу передать человеку, который потерял полк... Вы зря приехали...

Я ухожу сконфуженный.

Я снова скачу на лошади. И вдруг вижу моего командира полка. Он высокий, худой. В руках у него фуражка. Седые

его баки треплет ветер. Он стоит на поле и задерживает отступающих солдат. Это солдаты не нашего полка. Командир подбегает к каждому с криком и с мольбой.

Солдаты покорно идут к опушке леса. Я вижу здесь наш резервный батальон и двуколки обоза.

Я подхожу к офицерам. К ним подходит и командир полка. Он бормочет:

— Мой славный Мингрельский полк погиб.

Бросив фуражку на землю, командир в гневе топчет ее ногой.

Мы утешаем его. Мы говорим, что у нас осталось пятьсот человек. Это не мало. У нас снова будет полк.

Ад

Мы сидим в каком-то овине. До окопов семьсот шагов. Свистят пули. И снаряды рвутся совсем близко от нас. Но командир полка Бало Макаев радостен, почти весел. У нас снова полк — наспех пополненный батальон.

Трое суток мы сдерживаем натиск немцев и не отступаем.

— Пишите, — диктует мне командир.

На моей полевой сумке тетрадь. Я пишу донесение в штаб дивизии.

Тяжелый снаряд разрывается в десяти шагах от овина. Мы засыпаны мусором, грязью, соломой.

Сквозь дым и пыль я вижу улыбающееся лицо командира.

— Ничего, — говорит он, — пишите.

Я снова принимаюсь писать. Мой карандаш буквально подпрыгивает от близких разрывов. Через двор от нас горит дом. Снова с ужасным грохотом разрывается тяжелый снаряд. Это уже совсем рядом с нами. С визгом и со стоном летят осколки. Маленький горячий осколок я для чего-то прячу в карман.

Нет нужды сидеть в этом овине, над которым теперь нет даже крыши.

— Ваше сиятельство, — говорю я, — разумней перейти на переднюю линию.

— Мы останемся здесь, — упрямо говорит командир.

Ураганный артиллерийский огонь обрушивается на деревню. Воздух наполнен стоном, воем, визгом и скрежетом. Мне кажется, что я попал в ад.

Мне казалось, что я был в аду! В аду я был двадцать пять лет спустя, когда через дом от меня разорвалась немецкая бомба весом в полтонны.

Я еду в отпуск

В руках у меня чемодан. Я стою на станции «Залесье». Сейчас подадут поезд, и я через «Минск» и «Дно» вернусь в Петроград.

Подают состав. Это все теплушки и один классный вагон. Все бросаются к поезду.

Вдруг выстрелы. По звуку — зенитки. На небе появляются немецкие самолеты. Их три штуки. Они делают круги над станцией. Солдаты беспорядочно стреляют в них из винтовок.

Две бомбы с тяжким воем падают с самолетов и разрываются около станции.

Мы все бежим в поле. На поле — огороды, госпиталь с красным крестом на крыше и поодаль какие-то заборы.

Я ложусь на землю у забора.

Покружившись над станцией и сбросив еще одну бомбу, самолеты берут курс на госпиталь. Три бомбы почти одновременно падают у заборов, взрывая вверх землю. Это уже свинство. На крыше огромный крест. Его не заметить нельзя.

Еще три бомбы. Я вижу, как они отрываются от самолетов. Я вижу начало их падения. Затем только вой и свист воздуха.

Снова стреляют наши зенитки. Теперь осколки и стаканы нашей шрапнели осыпают поле. Я прижимаюсь к забору. И вдруг через щелочку вижу, что за забором артиллерийский склад.

Сотни ящиков с артиллерийскими снарядами стоят под открытым небом.

На ящиках сидит часовой и глазеет на самолеты.

Я медленно поднимаюсь и глазами ищу место, куда мне деться. Но деться некуда. Одна бомба, попавшая в ящики, перевернет все вокруг на несколько километров.

Сбросив еще несколько бомб, самолеты уходят.

Я медленно иду к поезду и в душе благословляю неточную стрельбу. Война станет абсурдом, — думаю я, — когда техника достигнет абсолютного попадания. За этот год я был бы убит минимум сорок раз.

Я люблю

Звоню. Дверь открывает Надя В. Она вскрикивает от удивления. И бросается мне на шею.

На пороге ее сестры и мама.

Мы идем на улицу, чтоб спокойно поговорить. Мы садимся на скамью у памятника «Стерегущему».

Сжимая мои руки, Надя плачет. Сквозь слезы она говорит:

— Как глупо. Зачем вы мне ничего не писали. Зачем уехали так неожиданно. Ведь прошел год. Я выхожу замуж.

— Вы любите его? — спрашиваю я, еще не зная, о ком идет речь.

— Нет, я его не люблю. Я люблю вас. И больше никого не полюблю. Я откажу ему.

Она снова плачет. И я целую ее лицо, мокрое от слез.

— Но как я могу ему отказать, — говорит Надя, мысленно перебивая себя. — Ведь мы обменялись кольцами. И была помолвка. В этот день он подарил мне именье в Смоленской губернии.

— Тогда не надо, — говорю я. — Ведь я же снова уеду на фронт. И что вам меня ждать? Может я буду убит или ранен.

Надя говорит:

— Я все обдумаю. Я все решу сама. Не надо мне ничего говорить... Я вам отвечу послезавтра.

На другой день я встречаю Надю на улице. Она идет под руку со своим женихом.

В этом нет ничего особенного. Это естественно. Но я взбешен.

Вечером я посылаю Наде записку о том, что меня срочно вызывают на фронт. И через день я уезжаю.

Это был самый глупый и бестолковый поступок в моей жизни.

Я ее очень любил. И эта любовь не прошла до сих пор.

Приходи завтра

У подъезда я встречаю Тату Т. Она так красива и так ослепительна, что я отвожу от нее глаза, как от солнца.

Она смеется, увидев меня. Она с любопытством рассматривает мою форму и трогает мою серебряную шашку. Потом говорит, что я стал совсем взрослый и что даже неприлично, если люди увидят нас вместе. Непременно будут сплетни.

Мы поднимаемся по лестнице.

Позвякивая шпорами, я вхожу в ее квартиру.

У зеркала Тата поправляет свои волосы. Я подхожу к ней и обнимаю ее. Она смеется. Удивляется, что я стал такой храбрый. Она обнимает меня так, как когда-то на лестнице.

Мы целуемся. И в сравнении с этим весь мир кажется мне ничтожным. И ей тоже безразлично, что происходит кругом.

Потом она смотрит на часы и вскрикивает от страха. Говорит:

— Сейчас придет мой муж.

И в эту минуту открывается дверь, и входит ее муж. Тата едва успевает поправить свою прическу.

Муж садится в кресло и молча смотрит на нас.

Тата, не растерявшись, говорит:

— Николай, ты только посмотри на него, какой он стал. Ведь он только сию минуту приехал с фронта.

Кисло улыбаясь, муж смотрит на меня.

Разговор не вяжется. И я, церемонно поклонившись, ухожу. Тата провожает меня.

Открыв дверь на лестницу, она шепчет мне:

— Приходи завтра днем. Он уходит в одиннадцать.

Я молча киваю головой.

Лицо ее мужа и кислая его улыбка целый день не выходят из моей головы. Мне кажется ужасным — и даже преступным — пойти завтра к ней днем.

Утром я посылаю Тате записку о том, что я срочно уезжаю на фронт.

Вечером я уезжаю в Москву и, пробыв там несколько дней, возвращаюсь в полк.

Вор

Я командир батальона. Я обеспокоен тем, что дисциплина у меня падает.

Мои гренадеры с улыбкой отдают мне честь. Они почти подмигивают мне. Вероятно, я сам виноват. Я слишком много беседую с ними. Около моей землянки целый день толкутся люди. Некоторым нужно написать письма. Другие приходят за советом.

Какие могут быть советы, если я за спиной слышу, что они меня называют: «внучек».

Дошло до того, что из моей землянки стали пропадать вещи. Исчезла трубка. Зеркало для бритья. Исчезают конфеты, бумага.

Надо будет всех подтянуть и приструнить.

Мы на отдыхе. Я сплю в избе на кровати.

Сквозь сон я вдруг чувствую, что чья-то рука тянется через меня к столу. Я вздрагиваю от ужаса и просыпаюсь.

Какой-то солдатик стремительно выскакивает из избы.

Я бегу за ним с наганом в руках. Я взбешен так, как никогда в жизни. Я кричу: «Стой». И если б он не остановился, я бы в него выстрелил. Но он остановился.

Я подхожу к нему. И он вдруг падает на колени. В руках у него моя безопасная бритва в никелированной коробочке.

— Зачем же ты взял? — спрашиваю я его.

— Для махорки, ваше благородие, — бормочет он.

Я понимаю, что его надо наказать, отдать под суд. Но у меня нехватает сил это сделать. Я вижу его унылое лицо, жалкую улыбку, дрожащие руки. Мне отвратительно, что я погнался за ним.

Вынув бритву, я отдаю ему коробку. И ухожу, раздраженный на самого себя.

Двадцатое июля

Я стою в окопах и с любопытством посматриваю на развалины местечка. Это — Сморгонь. Правое крыло нашего полка упирается в огороды Сморгони.

Это знаменитое местечко, откуда бежал Наполеон, передав командование Мюрату.

Темнеет. Я возвращаюсь в свою землянку.

Душная июльская ночь. Сняв френч, я пишу письма.

Уже около часа. Надо ложиться. Я хочу позвать вестового. Но вдруг слышу какой-то шум. Шум нарастает. Я слышу топот ног. И звяканье котелков. Но криков нет. И нет выстрелов.

Я выбегаю из землянки. И вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: «Газы!.. Маски!..» И бросаюсь в землянку. Там у меня на гвозде висит противогаз.

Свеча погасла, когда я стремительно вбежал в землянку. Рукой я нащупал противогаз и стал надевать его. Забыл открыть нижнюю пробку. Задыхаюсь. Открыв пробку, выбегаю в окопы.

Вокруг меня бегают солдаты, заматывая свои лица марлевыми масками.

Нашарив в кармане спички, я зажигаю хворост, лежащий перед окопами. Этот хворост приготовлен заранее. На случай газовой атаки.

Теперь огонь освещает наши позиции. Я вижу, что все гренадеры вышли из окопов и лежат у костров. Я тоже ложусь у костра. Мне нехорошо. Голова кружится. Я проглотил много газа, когда крикнул: «Маски!».

У костра становится легче. Даже совсем хорошо. Огонь поднимает газы, и они проходят, не задевая нас. Я снимаю маску.

Мы лежим четыре часа.

Начинает светать. Теперь видно, как идут газы. Это не сплошная стена. Это клуб дыма шириной в десять саженей. Он медленно надвигается на нас, подгоняемый тихим ветром.

Можно отойти вправо или влево — и тогда газ проходит мимо, не задевая.

Теперь не страшно. Уже кое-где я слышу смех и шутки. Это гренадеры толкают друг друга в клубы газа. Хохот. Возня.

Я в биноколь гляжу в сторону немцев. Теперь я вижу, как они из баллонов выпускают газ. Это зрелище отвратительно. Бешенство охватывает меня, когда я вижу, как методически и хладнокровно они это делают.

Я приказываю открыть огонь по этим мерзавцам. Я приказываю стрелять из всех пулеметов и ружей, хотя понимаю, что вреда мы принесем мало — расстояние полторы тысячи шагов.

Гренадеры стреляют вяло. И стрелков немного. Я вдруг вижу, что многие солдаты лежат мертвые. Их — большинство. Иные же стонут и не могут подняться из-за огня.

Я слышу звуки рожка в немецких окопах. Это отравители играют отбой. Газовая атака кончена.

Опираясь на палку, я бреду в лазарет. На моем платке кровь от ужасающей рвоты.

Я иду по шоссе. Я вижу пожелтевшую траву и сотню дохлых воробьев, упавших на дорогу.

Финал

Наш полк снова на отдыхе.

На розвальнях мы едем в обоз второго разряда — там предстоит ужин.

Начальник обоза встречает дорогих гостей.

На столе бурдюки с вином, шашлыки и всякая снедь.

Я сижу за столом с сестрой милосердия Клавой. Я уже пьян. Но нужно пить еще. Каждый стакан сопровождается тостом.

Я чувствую, что мне не следует больше пить. После газов у меня непорядки в сердце.

Чтобы не пить, я выхожу на улицу. И сажусь на крыльцо.

Приходит Клава и удивляется, что я сижу без пальто на морозе. Она за руку ведет меня в свою комнату. Там тепло. Мы садимся на ее постель.

Но отсутствие наше уже замечено. Со смехом и шутками офицеры стучат в окно нашей комнаты.

Мы снова идем к столу.

Утром мы возвращаемся на стоянку полка. И я, как камень, засыпаю на своей походной койке.

Я просыпаюсь от воя и взрыва бомб. Немецкий самолет бомбит деревню. Это не та бомбежка, что мы знаем из последней войны. Это четыре бомбы — и самолет улетает.

Я выхожу на улицу. И вдруг чувствую, что не могу дышать. Сердце мое останавливается. Я берусь за пульс — пульса нет.

С невероятным трудом, держась за заборы, я дохожу до нашего околотка.

Врач, покачивая головой, кричит:

— Камфару!

Мне вспрыскивают камфару.

Я лежу, почти умирая. У меня немеет левая часть груди. Пульс у меня сорок.

— Вам нельзя пить, — говорит врач. — Порок сердца.

И я даю себе слово больше не пить.

Меня везут в госпиталь по талому февральскому снегу.

1917 — 1920

Обратно к войскам поскакал на коне,
И новым повеяло ветром в стране...

Я ничего не понимаю

Первые числа марта. С вокзала я еду на извозчике домой.

Я еду мимо Зимнего дворца. Вижу на дворце красный флаг.

Значит — новая жизнь. Новая Россия. И я — новый, не такой, как был. Пусть все позади — мои огорчения, нервы, моя хандра, мое больное сердце.

С восторгом я вхожу в свой родной дом. И в тот же день обхожу всех моих друзей. Я вижу Надю и ее мужа. Встречаю Тату Т. Захожу к товарищам по университету.

Я вижу кругом радость и ликование. Все довольны, что произошла революция. Кроме Нади, которая сказала мне: «Это ужасно. Это опасно для России. Я не жду ничего хорошего».

Два дня я чувствую себя прекрасно. На третий день у меня снова хандра, снова перебои сердца, мрак и меланхолия.

Я ничего не понимаю. Я теряюсь в догадках, откуда возникла эта тоска. Ее не должно быть!

Вероятно, нужно работать. Вероятно, нужно все свои силы отдать людям, стране, новой жизни.

Я иду в главный штаб, к представителю временного правительства. Я прошу его снова назначить меня в армию.

Но я негоден в строй и меня назначают комендантом главного почтамта и телеграфа.

То, что мне больше всего неприятно, — исполнилось. Я сижу в кабинете и подписываю какие-то бумаги. Эта работа мне противна в высшей степени.

Я иду снова в штаб и прошу командировать меня куда-либо в провинцию.

Мне предлагают Архангельск — адъютантом дружины. Я соглашаюсь.

Через неделю я должен ехать.

Пятичасовой чай

За мной заходит правовед Л. Мы собираемся итти в один весьма аристократический дом — к княгине Б.

Л. просит меня надеть все мои ордена.

— Ей будет приятно это, — говорит он. — Ее муж до сих пор на фронте. Он командует гвардейской дивизией.

Я показываю свои ордена. Один орден — на моей кавказской шашке. Два ордена приклепаны на моем портсигаре. Четвертый орден носится на шее. Мне вообще как-то неловко его надеть. Пятый орден я не получил на руки — только в приказе.

Л. настаивает. Он прилаживает орден под воротник моего френча.

Чувствуя себя неважно, я иду с правоведом на Офицерскую.

Мне не приходилось раньше бывать среди аристократии. Февральская революция сломала сословные перегородки. И вот я иду в этот дом.

В маленькой гостиной два гвардейских офицера, несколько правоведов и лицеист.

Княгиня нехороша собой — небольшого роста, с мелкими чертами лица. Но она держится очень просто. И я не чувствую неловкости.

Лакей бесшумно вкатывает в комнату стеклянный столик на колесиках. Княгиня разливает чай.

Разговор все время вокруг царской фамилии. Все время речь идет о Николае, об отречении, о здоровьи того или иного члена царской семьи. О самочувствии супруги. И о всяких придворных делах и поступках.

Я, как бревно, сижу в кресле, со своим орденом на шее. Мне абсолютно нечего сказать на эту тему. Я с тоской посматриваю на моего знакомого правоведа. Он отводит глаза от меня.

Попив чай, мы переходим в большую гостиную. Однако тема разговора не меняется.

Наконец, кто-то из правоведов начинает петь модную тогда песенку: «По улицам ходила большая крокодила...» Все подхватывают эту песенку.

Они поют ее пять или шесть раз и при этом смеются. Один из правоведов берет в зубы какой-то шарф, когда песенка доходит до слов: «В зубах она держала кусочек одеяла...»

Все страшно смеются. И княгиня снисходительно посмеивается.

В семь часов мы выходим на улицу. Л. спрашивает меня, как мне понравилось. Я пожимаю плечами.

Невеста Вава

Я приехал в Архангельск мрачный, в ужасной тоске. Тем не менее, а может быть и поэтому, меня там начали сватать.

Мне прочили в невесту Ваву М. — дочь очень богатого рыботорговца.

Я не видел эту девушку, и она не видела меня. Но там было принято такое сватовство. Это занимало дам, которым нечего было делать.

Мою встречу с невестой обставили торжественно — в зимнем саду какого-то богатого дома.

Передо мной была очень юная, очень тихая девушка. Нас оставили вдвоем, чтобы мы побеседовали.

Я всегда был неразговорчив. Но в тот вечер случилась просто катастрофа. Я буквально не знал, о чем мне говорить. Я клещами вытаскивал из себя слова, чтобы заполнить ужасающие паузы.

Девушка испуганно смотрела на меня и тоже молчала.

Я ниоткуда не ждал спасения. Все ушли в дальние комнаты и плотно прикрыли дверь зимнего сада.

Тогда я стал читать стихи.

Я стал читать стихи из модной книжки В. Инбер — «Печальное вино». Потом я стал читать Блока и Маяковского.

Вава слушала меня внимательно, не проронив слова.

Когда в гостиную вошли люди, я был почти весел. Я спросил Ваву, понравилось ли то, что я ей читал. Она тихо сказала:

— Я не люблю стихи.

— Так зачем же вы целый час слушали их! — воскликнул я, глухо пробормотав: «Дура».

— Это было бы невежливостью с моей стороны, не слушать то, что вы говорите.

Почти по-солдатски я повернулся на каблуках и, взбешенный, отошел от девушки.

Замшевые перчатки

По вторникам и субботам мы бываем у Д. Это молодая женщина, вдова морского офицера.

У нее всегда очень весело. Она остроумна и кокетлива.

Я не имею у нее успеха. Ей нравится мичман Т. — добродушный широкоплечий офицер.

Вечер. Мы играем у нее в покер. Д. кокетничает с мичманом. Она как бы невзначай прикасается рукой к его руке и подолгу смотрит в его глаза. Похоже на то, что она пригласит его бывать у себя не только по вторникам и субботам.

Впрочем, со мной она тоже приветлива. Но не настолько.

Она говорит, что я слишком инертен, не мужественен, печален. Меланхолия — это не ее идеал.

Мы уходим от нее ночью. И на улице подшучиваем над мичманом, который загадочно улыбается.

Утром я не нахожу свои перчатки. Мне очень жаль их. Это английские замшевые перчатки. Должно быть, я оставил их у Д.

По телефону я звоню Д. В ответ я слышу продолжительный смех. Сквозь смех она говорит мне:

— Ах, это ваши перчатки? Я почему-то была уверена, что это перчатки мичмана...

Я захожу к ней в назначенный час. Она не отпускает меня, и мы пьем чай в ее будуаре.

Попив чай, она склоняет свою голову мне на грудь. И я ухожу от нее через три часа.

В передней она подает мне мои замшевые перчатки.

— Вот ваши перчатки, плутишка, — говорит она, улыбаясь. — Согласитесь сами, что это немножко наивный прием — оставить перчатки, чтоб потом прийти к даме.

Я бормочу извинения. Смеясь, она грозит мне пальцем. Вздохнув говорит:

— Как видите, я оценила вашу милую уловку. Вы предприимчивы. Я не ожидала этого от вас...

— Мадам, — говорю я, — уверяю вас... Я случайно забыл перчатки... Я не имел никаких намерений...

Я пожалел о том, что я так сказал. Лицо ее стало некрасивое, желтое, почти старое.

— Ах, вот как, — сказала она сквозь зубы. — В таком случае я очень сожалею... О, пусть мне это будет уроком!

Она меня больше не приглашала к себе.

Я бы так же поступил на ее месте.

Дороги ведут в Париж

В кресле против меня французский полковник. Чуть усмехаясь, он говорит:

— Завтра в двенадцать часов дня вы можете получить паспорт. Через десять дней вы будете в Париже... Вы должны благодарить мадемуазель Р. Это она оказала вам протекцию.

— Я не просил об этом мадемуазель Р., — говорю я полковнику.

Прищурившись, он смотрит на меня.

— Ах, вот как, — говорит он. — В таком случае извините, я не знал, что это идет вразрез с вашим желанием.

Я говорю:

— Я не собираюсь никуда уезжать, полковник. Это недоразумение.

Пожав плечами, он говорит:

— Мой друг, вы отдаете себе отчет, что происходит в вашей стране?.. Прежде всего, это небезопасно для жизни — пролетарская революция... Мы здесь, в Архангельске, чувствуем это еще не в такой степени... Вы должны подумать. Я завтра ожидаю вас в двенадцать.

— Хорошо, я подумаю, — говорю я. Хотя мне нечего думать. У меня нет сомнений. Я не могу и не хочу уехать из России. Я ничего не ищу в Париже.

Вечером ко мне приходит мадемуазель Р. Она француженка. Она не очень хороша собой. Но она очень веселая и смешливая. Кое-что я не понимаю в ней. Она всякий раз берет из пепельницы мой окурок папиросы и прячет его в сумку. — Это на память, — говорит она. Я не могу ее отучить от этой дурной манеры. Вероятно, она провинциалка. Но она утверждает, что она родилась в Париже.

Она спрашивает меня, видел ли я полковника. Я ей рассказываю все, что было. Она немного раздражена. Сердито говорит:

— Это глупо. Все ваши уезжают. Вы здесь все равно не останетесь. Дороги ведут в Париж.

Восторженно она говорит о Париже и о том, как мы сказочно там будем жить.

Я спускаю ее с облаков. Я говорю ей:

— В таком случае, зачем же вы уехали из Парижа? Вы здесь всего — гувернантка, учительница. А там вы будете швея.

Она говорит:

— Я приехала сюда к миллионеру. Это интересно... А там я буду не швея, а кокотка.

Мы смеемся.

У ворот

Я взбегаю на третий этаж одним духом. Сердце мое колотится.

Я звоню у надиных дверей. Никто не отворяет. Я стучу в дверь сначала тихо, потом стучу ногой.

Открывается соседняя дверь.

— Вам нужно В., — спрашивает старуха. — Они все уехали.

— Куда?

— Не знаю. Спросите дворника.

Я стою у ворот. Передо мной дворник. Он узнал меня. Улыбается.

— Все В. уехали, — говорит он почти радостно.

— Когда?

— В том месяце. В феврале.

— А вы не знаете, куда они уехали?

— Куда ж они могли уехать? К белым... Ну, так ведь папаша — генерал... А тут ваших дробили — красота!.. Конечно уехали...

Должно быть, увидев смятение на моем лице, дворник сочувственно вздыхает.

— Да вы по ком страдали-то? — спрашивает он. — Что-то я не понимаю — по Наденьке или по Катеньке.

— По Наденьке.

— Очень милая госпожа, — говорит он. — Папа — генерал, супруг — помещик... Ясно... Взяла младенца и уехала.

— Разве у нее был ребенок?

— Я же и говорю — взяла только что родившегося ребенка и уехала.

Я иду домой. Весь мир мне кажется тусклым.

В подвале

Я сижу на низеньком табурете. На моих коленях чей-то потрепанный сапог. Рашпилем я подравниваю только что прибитую кожу подметки.

Я — сапожник. Мне нравится эта работа. Я презираю интеллигентский труд — это умственное ковыряние, от которого, должно быть, исходят меланхолия и хандра.

Я не вернусь больше к прошлому. Мне довольно того, что у меня есть.

Напротив меня, за низким грязным столом сидит хозяин, Алексей Алексеевич, — толстый сапожник в никелированных очках. Рядом с ним его племянник — подросток Андрюшка. Они оба работают сосредоточенно.

Подросток не без лихости бьет молотком по подметке.

Позади, на деревянном диване, — белобрысый хозяйский сын. Оболтусу двадцать лет. Он поступает в консерваторию, на класс скрипки. По этой причине он не работает. Он сидит с газетой в руках.

Засмеявшись, подросток Андрюшка начинает рассказывать историю о том, как летом один жилец свалился из окна второго этажа. Выпив денатурату, он заснул на подоконнике и, потянувшись во сне, упал в сад. Побился, но не убился.

Третью неделю я каждый день слышу эту историю. Тем не менее все смеются. И я тоже смеюсь — это почему-то смешно.

На наш смех иной раз выходит из кухни хозяйка и, встав у дверей, тоже смеется, утирая передником рот и глаза.

Хозяин, впрочем, не позволяет рассказывать эту историю. Он сердится и бранится, когда начинается этот рассказ. Но его самого захватывают подробности, и он смеется сильнее всех, держась рукой за живот. У него язва желудка и ему нельзя смеяться. Поэтому он запрещает этот рассказ.

Однако, подросток либо хозяйский сын нарочно заводят об этом речь. Они начинают издалека, как бы с посторонних предметов — с выпивки, с денатурата, со спящих людей. Но всякий раз подгоняют разговор к происшествию.

На этот раз подросток начинает с дворника, который испугался. Хозяйский сын подбрасывает несколько фраз не в пользу дворника. И тогда подросток, взвизгивая от смеха, рассказывает подробности, — как бросился бежать этот дворник, когда рука падающего жильца ударила его по плечу и затылку.

От смеха хозяин мотается на табуретке, по временам охая и хватаясь за живот.

Наконец, он выскакивает на кухню.

Я говорю:

— Не следует его смешить. Видите — ему опять нехорошо.

Хозяйский сын говорит:

— Чепуха. У папаши тошнота. Всем известно — это облегчает людей.

Возвращается хозяин, утирая рот рукавом.

Мы снова молча работаем.

Чугунная тень

Бывшая помещичья усадьба «Маньково» в Смоленской губернии. Сейчас здесь совхоз.

При исполкоме я прилично сдал экзамены на звание птицевода. И теперь я заведующий птицеводческой фермой.

Я брожу среди птиц с книгами в руках. Некоторые породы птиц я видел только в жареном виде. И вот теперь учебники мне приходят на помощь.

Две недели я не отхожу от птиц, почти ночую с ними, стараясь изучить их характер и нравы.

На третью неделю я позволяю себе небольшие прогулки в окрестности.

Я хожу по проселочным дорогам. По временам встречаю крестьян.

Всякий раз меня ошеломляют эти встречи. Шагов за пятнадцать крестьянин снимает свою шапку и низко кланяется мне.

Я вежливо приподнимаю свою кепку и сконфуженно прохожу.

Сначала я думаю, что эти поклоны случайны, но потом вижу, что это повторяется всякий раз.

Быть может, меня принимают за какую-нибудь важную шишку?

Я спрашиваю старуху, которая только что поклонилась мне почти в землю:

— Бабушка, — говорю я, — почему вы так кланяетесь мне? В чем дело?

Поцеловав мою руку и ничего не сказав, старуха уходит.

Тогда я подхожу к крестьянину. Он пожилой. В лаптях.

в рваной дерюге. Я спрашиваю его, почему он содрал с себя шапку за десять шагов и поклонился мне в пояс.

Поклонившись еще раз, крестьянин пытается поцеловать мою руку. Я отдергиваю ее.

— Чем я тебя рассердил, барин? — спрашивает он.

И вдруг в этих словах и в этом его поклоне я увидел и услышал все. Я увидел тень прошлой привычки жизни. Я услышал окрик помещика и тихий рабский ответ. Я увидел жизнь, о которой я не имел понятия. Я был поражен, как никогда в жизни.

— Отец, — сказал я крестьянину, — вот уже год власть у рабочих и крестьян. А ты собираешься лизать мне руку.

— До нас не дошло, — говорит крестьянин. — Верно, господа съехали со своих дворов, живут по хатам... Но кто ж его знает, как оно будет...

Я иду с крестьянином до его деревни. Я захожу в его избу.

На каждом шагу я вижу чугунную тень прошлого.

Умирает старик

Я стою в крестьянской избе. На столе лежит умирающий старик.

Он лежит уже третий день и не умирает.

Сегодня у него в руке восковая свечка. Она падает и гаснет, но ее снова зажигают.

У изголовья родственники. Они смотрят на старика не отрываясь. Вокруг невероятная бедность, грязь, тряпки, нищета...

Старик лежит ногами к окну. Лицо у него темное, напряженное. Дыхание неровное. Иной раз кажется, что он уже умер.

Наклонившись к старухе — его жене, я тихо говорю ей:

— Я съезжу за доктором. Не дело, что он третий день лежит на столе.

Старуха отрицательно качает головой.

— Не надо его тревожить, — говорит она.

Старик открывает глаза и мутным взором обводит окружающих. Губы его что-то шепчут.

Одна из женщин, молодая и смуглолицая, наклоняется к старику и молча слушает его бормотанье.

— Что он? — спрашивает старуха.

— Титьку просит, — отвечает женщина. И, быстро расстегнув свою кофту, берет руку старика и кладет ее на свою обнаженную грудь.

Я вижу, как лицо старика светлеет. Нечто вроде улыбки пробегает по его губам. Он дышит ровней, спокойней.

Все стоят молча, не шевелясь.

Вдруг тело старика вздрагивает. Рука его беспомощно падает вниз. Лицо делается строгим и совсем спокойным. Он перестает дышать. Он умер.

Тотчас старуха начинает голосить. И вслед за ней голосят все.

Я выхожу из избы.

Мы играем в карты

На столе керосиновая лампа под кокетливым розовым абажуром. Мы играем в преферанс.

Мои партнеры — толстая дама Ольга Павловна, старик с гнилыми зубами и его дочь — молодая красивая женщина, Вероника.

Это бывшие помещики из соседних районов. Они не пожелали уехать далеко от своих владений. Сняв у крестьян эту избу, они живут здесь на правах частных людей.

Вот уже четыре часа мы сидим за столом. Мне осточертела эта игра. Я бы с наслаждением ее бросил. Но мне неудобно — я в проигрыше, у меня большой ремиз наверху.

Мне безумно не везет. Везет Ольге Павловне, которая с каждой удачей делается все более шумной и радостной.

Открыв «10 игры», она от восторга ударяет ладонью по столу.

— Я счастливая! — кричит она. — Мне всегда и во всем везло... Пройдет два-три месяца, и я уверена, что получу обратно свое имение...

Старик с гнилыми зубами начинает смеяться.

— Одно дело карты, почтеннейшая Ольга Павловна, — говорит он, — а другое дело — Россия, политика, революция.

— Безразлично! — кричит Ольга Павловна. — В жизни мы тоже играем в карты. Одному везет, другому не везет. А мне всегда и во всем везло — и в жизни, и в карты... Вот увидите, я скоро получу обратно свое «Затишье»...

Сдавая карты, она говорит:

— Получу свое «Затишье», немного попорю своих мужиков, и все пойдет по-старому.

— После такой революции только лишь попорете? — спрашивает гнилозубый старик, перестав смеяться.

Ольга Павловна, прекратив сдачу, говорит:

— Я не такая безмозглая, чтоб сажать в тюрьму своих мужиков. Я не намерена остаться без рабочей силы. Имейте это в виду...

— Ну нет, почтеннейшая Ольга Павловна, — говорит старик. — Я категорически не согласен с вами... И буду возражать против вашей политики... Двоих я вешаю — я знаю кого. Пятерых отправлю на каторгу. — Остальных — порю и штрафую. Пусть они год работают только на меня.

Я бросаю свои карты так, что они подскакивают на столе и рассыпаются по полу.

— Ох! — надменно восклицает Ольга Павловна.

— Негодяи, преступники! — говорю я тихо. — Это из-за вас такая беда, такая темнота в деревне, такой мрак...

Я выгребаю из карманов деньги и швыряю их на стол.

Меня колотит лихорадка.

Я выскакиваю в сени и, нащупав шубу, с трудом всовываю в нее свои руки.

В комнате тихо. Даже никто не шепчется. Я жду, что в сени выйдет Вероника, но она не выходит.

Я иду во двор. Вывожу лошадь из ворот. Ложусь в розвальни.

Лошадь бойко бежит — она сама знает дорогу.

Над моей головой темное небо, звезды. Вокруг снег, поля. И ужасная тишина.

Зачем я приехал сюда? Для чего я тут, среди птиц и шакалов? Я завтра же уеду отсюда.

В штабе полка

Я сижу за столом. Переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня вместе с командиром и комиссаром полка.

Я — адъютант 1-го образцового полка деревенской бедноты.

Передо мной карта северо-западной России. Красным карандашом отмечена линия фронта, — она идет от берега Финского залива через Нарву — Ямбург.

Наш штаб полка в Ямбурге.

Я переписываю приказ красивым, четким почерком.

Командир и комиссар уехали на позиции. У меня порок сердца. Мне нельзя скакать на лошади. И поэтому они редко берут меня с собой.

Кто-то стучит в окно. Я вижу какую-то штатскую фигуру в изодранном, грязном пальто. Постучав в окно, человек кланяется.

Я велю часовому пропустить этого человека. Часовой нехотя пропускает.

— Что вам угодно? — спрашиваю я.

Сняв шапку, человек мнется у дверей.

Я вижу перед собой человека очень жалкого, очень какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится.

Он говорит, еле шевеля губами:

— Если Красная Армия будет отходить — отходить ли нам вместе с вами или оставаться?

— А кто вы будете? — спрашиваю я.

— Я пришел из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных.

Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно я вытираю свою руку о свои ватные штаны.

— Не знаю, — говорю я. — Я один не могу решить этого вопроса. Кроме того, речь идет не о нашем отступлении. Я не думаю, что фронт отойдет дальше Ямбурга.

Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, что он показывает свои язвы часовому.

Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки.

Я не заболел. Вероятно, у нас преувеличенный страх к этой болезни.

Хлеб

Я потерял сознание, когда утром вышел из штаба, чтобы пройтись немного по воздуху.

Часовой и телефонист приводили меня в чувство. Они почему-то терли мои уши и разводили мои руки, как утопленнику. Тем не менее я очнулся.

Командир полка сказал мне:

— Немедленно поезжайте отдохнуть. Я вам дам две недели отпуска.

Я уехал в Петроград.

Но в Петрограде я не чувствовал себя лучше.

Я пошел в военный госпиталь за советом. Послушав мое сердце, мне сказали, что для армии я негоден. И оставили меня в госпитале до комиссии.

И вот вторую неделю я лежу в палате.

Кроме того, что я плохо чувствую, я еще голоден. Это — девятнадцатый год! В госпитале дают четыреста граммов хлеба и тарелку супа. Это мало для человека, которому двадцать три года.

Моя мать изредка приносит мне копченую воблу. Мне совестно брать эту воблу. У нас дома большая семья.

Напротив меня на койке сидит молодой парень в кальсонах. Ему только что привезли из деревни два каравая хлеба. Он перочинным ножом нарезает куски хлеба, мажет их маслом и посылает в свой рот. Это он делает до бесконечности.

Кто-то из больных просит:

— Свидеров, дай кусочек.

Тот говорит:

— Дайте самому пожрать. Пожру и тогда дам.

Заправившись, он разбрасывает куски по койкам. Спрашивает меня:

— А тебе, интеллигент, дать?

Я говорю:

— Только не бросай. А положи на мой стол.

Ему досадно это. Он хотел бы бросить. Это интересней.

Он молча сидит, поглядывая на меня. Потом встает с койки и, паясничая, кладет кусок хлеба на мой столик. При

этом театрально кланяется и гримасничает. В палате смех.

Мне очень хочется сбросить это подношение на пол. Но я сдерживаю себя. Я отворачиваюсь к стене.

Ночью, лежа на койке, я съедаю этот хлеб.

Мысли у меня самые горькие.

Сыр бри

Каждый день я подхожу к забору, на котором наклеена «Красная Газета».

В газете «Почтовый ящик». Там ответы авторам.

Я написал маленький рассказ о деревне. И послал в редакцию. И вот теперь не без волнения ожидаю ответа.

Я написал этот рассказик не для того, чтоб заработать. Я — телефонист пограничной охраны. Я обеспечен. Рассказ написан просто так, — мне казалось это нужным — написать о деревне. Рассказ я подписал псевдонимом — М. М. Чирков.

Моросит дождь. Холодно. Я стою у газеты и просматриваю «Почтовый ящик».

Вижу: «М. М. Чиркову. — Нам нужен ржаной хлеб, а не сыр бри».

Я не верю своим глазам. Я поражен. Может быть, меня не поняли?

Начинаю вспоминать то, что я написал.

Нет, как будто бы правильно написано, хорошо, чистенько. Немножко манерно, с украшениями, с латинской цитатой... Боже мой! Для кого же это я так написал? Разве так следовало писать?.. Старой России нет... Передо мной — новый мир, новые люди, новая речь...

Я иду на вокзал, чтобы ехать в Стрельну на дежурство. Я сажусь в поезд и час еду.

Черт меня дернул снова склониться к интеллигентскому труду. Это в последний раз. Больше этого не будет. В этом виновата моя неподвижная, сидячая работа. У меня слишком много времени для того, чтоб думать.

Я переменю работу.

Мы поймаем его

Ночь Темно. Я стою на каком-то пустыре Лигова.

В кармане моего пальто — наган.

Рядом со мной работник угрозыска Н. Он шепчет мне:

— Вы встаньте у окна так, чтоб моя пуля на задела вас, если я буду стрелять... Если он выскочит в окно — стреляйте... старайтесь в ноги...

Затаив дыхание, я подхожу к окошечку. Оно освещено. Спиной я прижимаюсь к стене. Скосив глаза, заглядываю поверх занавески.

Я вижу кухонный стол. Керосиновую лампу.

Мужчина и женщина сидят за столом, играют в карты.

Мужчина сдает грязные, лохматые карты. Ходит — прихлопывая карту ладонью. Оба смеются.

Н. и три работника розыска наваливаются на дверь одновременно.

Это ошибка. Нужно было найти иной способ открыть дверь. Она не сразу поддается усилиям.

Бандит тушит лампу. Темно.

Дверь с треском раскрывается. Выстрелы...

Я поднимаю наган на уровне окна.

Тихо.

Мы зажигаем лампу в избе. На табуретке сидит женщина — она бледна и дрожит. Ее партнера нет — он ушел в другое окно, которое было заколочено досками.

Мы рассматриваем это окно. Доски были приколочены так, что они отваливались от легкого нажима.

— Ничего, — говорит Н., — мы поймаем его.

На рассвете мы задерживаем его на четвертой версте. Он стреляет в нас. И потом стреляет в себя.

Двенадцатое января

Холодно. Идет пар изо рта.

Обломки моего письменного стола лежат у печки. Но комната нагревается с трудом.

На постели лежит моя мать. Она в бреду. Доктор сказал, что у нее «испанка» — это ужасный грипп, от которого в каждом доме умирают люди.

Я подхожу к матери. Она — под двумя одеялами и двумя пальто.

Кладу свою руку на ее лоб. Жар обжигает мою руку.

Гаснет коптилка. Я поправляю ее. И сажусь рядом с матерью на ее кровать.

Долго сижу, всматриваюсь в ее измученное лицо.

Кругом тихо. Сестры спят. Уже два часа ночи.

— Не надо, не надо... не делайте этого... — бормочет мать.

Я подношу к ее губам теплую воду. Она делает несколько глотков. На секунду открывает глаза. Я наклоняюсь к ней. Нет, она снова в бреду.

Но вот ее лицо делается спокойней. Дыхание ровней. Может быть, это был кризис? Ей будет лучше...

Я покрываю ее плечи одеялом, которое сползло.

Я вижу — как будто бы тень проходит по лицу моей матери. Боясь что-нибудь подумать, я медленно поднимаю свою руку и дотрагиваюсь до ее лба. Она умерла.

У меня почему-то нет слез. Я сижу на кровати не двигаясь. Потом встаю и, разбудив моих сестер, ухожу в комнату.

Я ничего не хочу

Деревянные сани на деревянных полозьях.

На санях стоит некрашеный гроб.

Впрягшись в веревку, я везу эти сани на кладбище.

За санями идут мои сестры и мой маленький брат.

Вот уже Смоленское кладбище. У ворот множество таких саней с гробами. Привычных колесниц и лошадей под сетками нет. Вероятно, лошади съедены, как и съедена их пища — овес.

Гроб несут в церковь. Я остаюсь на улице. Я сажусь на ступеньках храма. И сижу рядом с нищими. Я сам нищий. У меня нет ничего впереди. И я ничего не хочу. У меня нет никаких желаний. Мне только жалко мою мать.

Гроб снова выносят из церкви. И я снова везу сани в дальнюю аллею. Там могила моего отца, который умер четырнадцать лет назад.

Рядом с этой могилой вырыта новая.

Я приподнимаю крышку гроба и целую мертвую руку матери.

Новый путь

На тележке маленький письменный стол, два кресла, ковер и этажерка.

Я везу эти вещи на новую квартиру.

В моей жизни перемена.

Я не мог остаться в квартире, где была смерть.

Одна женщина, которая меня любила, сказала мне: — Ваша мать умерла. Переезжайте ко мне.

Я пошел в загс с этой женщиной. И мы записались. Теперь она моя жена.

Я везу вещи на ее квартиру, на Петроградскую сторону.

Это очень далеко. И я с трудом толкаю мою тележку.

Передо мной — подъем на Тучков мост.

У меня больше нет сил толкать мою тележку. Ужасное сердцебиение. Я с тоской посматриваю на прохожих. Быть может, найдется добрая душа — поможет мне взять это возвышение.

Нет, прохожие, равнодушно посматривая, проходят мимо.

Чорт с ними! Я должен сам... Если б только не перебои сердца... Глупо умереть на мосту, перевозя кресла и стол.

Изнемогая, я вкатываю тележку на мост.

Теперь легко.

1920 — 1926

Если б со счастьем дружил я, поверь,
Не этим бы стал заниматься теперь.

Дом искусств

Этот дом на углу Мойки и Невского.

Я хожу по коридору в ожидании литературного вечера.

Это ничего не значит, что я следователь уголовного розыска. У меня уже две критические статьи и четыре рассказа. И все они очень одобрены.

Я хожу по коридору и смотрю на литераторов.

Вот идет А. М. Ремизов. Маленький и уродливый, как обезьяна. С ним его секретарь. У секретаря из-под пиджака торчит матерчатый хвост. Это символ. Ремизов — отец-настоятель «Обезьяньей вольной палаты». Вот стоит Е. И. Замятин. Его лицо немного лоснится. Он улыбается. В руке у него длинная папироса в длинном изящном мундштуке.

Он с кем-то разговаривает по-английски.

Идет Шкловский. Он в восточной тюбетейке. У него умное и дерзкое лицо. Он с кем-то яростно спорит. Он ничего не видит — кроме себя и противника.

Я здороваюсь с Замятиным.

Обернувшись ко мне, он говорит:

— Блок здесь, пришел. Вы хотели его увидеть...

Вместе с Замятиным я вхожу в полутемную комнату.

У окна стоит человек. У него коричневое лицо от загара. Высокий лоб. И нетемные, волнистые, почти курчавые волосы.

Он стоит удивительно неподвижно. Смотрит на огни Невского.

Он не оборачивается, когда мы входим.

— Александр Александрович, — говорит Замятин.

Медленно повернувшись, Блок смотрит на нас.

Я никогда не видел таких пустых, мертвых глаз. Я никогда не думал, что на лице могут отражаться такая тоска и такое безразличие.

Блок протягивает руку — она вялая и безжизненная.

Мне становится неловко, что я потревожил человека в его каком-то забытьи... Я бормочу извинения.

Немного глухим голосом Блок спрашивает меня:

— Вы будете выступать на вечере?

— Нет, — говорю я. — Я пришел послушать литераторов.

Извинившись еще раз, я торопливо ухожу.

Замятин остается с Блоком.

Я снова хожу по коридору. Меня душит какое-то волнение. Теперь я почти вижу свою судьбу. Я вижу финал своей жизни. Я вижу тоску, которая меня непременно задушит.

Я спрашиваю кого-то: «Сколько лет Блоку?» Мне отвечают: «Около сорока».

Ему нет сорока лет! Но Байрону было тридцать, когда он сказал:

То пресыщение? Оно теперь следит
За мной, как тать везде. В душе разбитой тьма,
И красота меня уж больше не пленяет,
И даже — ты сама...

У Байрона нет вопросительного знака после слов «То пресыщение». Это я мысленно ставлю этот вопрос. Я думаю — неужели это пресыщенье?

Начинается литературный вечер.

Кафе «Двенадцать»

Это кафе на Садовой двенадцать. Я сижу здесь за столиком с моими товарищами.

Кругом пьяные крики, шум, табачный дым.

Играет скрипка.

Я бормочу стихи Блока:

Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой...
Вновь я буду пить вино...
Все равно нехватит силы дотащиться до конца
С трезвой жалкою улыбкой, за которой
Страх могилы, беспокойство мертвеца...

К нашему столику, неуверенно шагая, подходит человек. Он в черной бархатной блузе. На груди у него большой белый кисейный бант.

Лицо этого человека обсыпано пудрой.

Губы и брови подведены.

На лице улыбка — пьяная и немного сконфуженная. Кто-то говорит:

— Сережа, садись с нами.

Теперь я вижу, что это Есенин.

Он грузно садится за наш столик. Сердито смотрит на какого-то пьяного. Бормочет: «Дам в морду... уходи...»

Я поглаживаю руку Есенина. Он успокаивается. Снова улыбается как-то сконфуженно и жалко.

За краской его намалеванного рта я вижу бледные губы.

Кто-то еще подходит к нашему столику.
Кто-то кричит: — Надо составить столы.
Начинают сдвигать столы.
Я выхожу на улицу.

У Горького

Мы входим на кухню. На плите — большие медные кастрюли.

Мы проходим через кухню в столовую.

Навстречу нам идет Горький.

Что-то изящное в его бесшумной походке, в его движениях и жестах.

Он не улыбается, как это полагается хозяину, но лицо у него приветливое.

В столовой он садится за стол. Мы рассаживаемся на стульях и на низенькой пестрой тахте. Я вижу — Федина, Всеволода Иванова в солдатской шинели, Слонимского, Груздева...

Покашливая, Горький говорит о литературе, о народе, о задачах писателя.

Он говорит интересно и даже увлекательно. Но я почти не слушаю его. Я смотрю, как он чуть нервно барабанит пальцами по столу, как он улыбается едва заметно в свои усы. Я смотрю на его удивительное лицо — умное, грубоватое и совсем не простое.

Я смотрю на этого великого человека, у которого легендарная слава. Вероятно, это нехорошо, беспокойно, утомительно. Я бы не хотел этого.

Как бы в ответ на мои мысли, Горький говорит, что его далеко не все знают, что вот на-днях он ехал в машине, и охрана задержала его. Он сказал, что он Горький, но один из охраны сказал: «Горький ты или сладкий — это нам безразлично. Предъяви пропуск».

Горький чуть улыбается. Потом снова говорит о литературе, о народе, культуре.

Кто-то за моей спиной записывает то, что говорит Горький.

Мы встаем. Прощаемся.

Чуть прикоснувшись рукой к моему плечу, Горький спрашивает:

— Что вы такой хмурый, мрачный? Почему?

В ответ я что-то бормочу о своем сердце.

— Это нехорошо, — говорит Горький. — Надо полечиться... Вы на-днях зайдите ко мне — поговорим о ваших делах.

Мы снова идем через кухню. Выходим на лестницу.

Выходим на Кронверкский проспект — на проспект Горького.

Встреча

По бесконечным лестницам я хожу вверх и вниз. В руках у меня папка с бумагами, с бланками. В эти бланки я вписываю сведения о жильцах. Это — всесоюзная перепись населения.

Я взял эту работу, чтобы увидеть, как живут люди.

Я верю только своим глазам. Как Гарун аль Рашид, я хожу по чужим домам. Я хожу по коридорам, кухням, захожу в комнаты. Я вижу тусклые лампочки, рваные обои, белье на веревках, ужасную тесноту, мусор, рвань. Да, конечно, только недавно миновали тяжелые годы, голод, разруха... Но все же я не думал, что увижу то, что увидел.

Я вхожу в полутемную комнату. На койке, на грязном тюфяке лежит человек. Он неприветливо меня встречает. Даже не поворачивается ко мне. Глядит в потолок.

— Где вы работаете? — спрашиваю я.

— Работают ослы и лошади, — говорит он. — Лично я не работаю и не собираюсь работать. Так и запишите в ваши паршивые бумаги... Можете приписать — хожу в клуб, играю в карты...

Он раздражен. Может быть, болен. Я хочу уйти, чтоб взять сведения у соседей. Уходя, я смотрю на него. Где-то я видел это лицо.

— Алеша! — говорю я.

Он садится на койку. Лицо у него небритое, хмурое.

Я вижу перед собой Алешу Н. — гимназического товарища. Он был старше меня классом. Это был чистюля, зубрила, первый ученик, маменькин сынок...

— Что случилось, Алеша? — бормочу я.

— Ровным счетом ничего не случилось, — говорит он. И вижу досаду на его лице.

— Может, я могу помочь тебе чем-нибудь?

— Абсолютно ничего не надо, — говорит он. — Впрочем, если у тебя есть деньги, — дай пятерку, схожу в клуб.

Я ему даю значительно больше, но он берет только пять рублей.

Через несколько минут я сижу на его койке, и мы с ним беседуем, как когда-то, десять лет назад.

— В сущности история самая пошлая, — говорит он. — Ушла жена с одним прохвостом. Начал пить. Пропил все-что было. Потерял работу. Стал играть в клубе... А теперь, понимаешь, не хочется вернуться к тому, что было . Мог бы, но не хочу. Все ерунда, чушь, комедия, вздор, дым...

Я беру с него слово, что он зайдет ко мне.

Ночью

На моей подушке лежат письма в редакцию «Красной Газеты». Это жалобы на банные непорядки. Эти письма мне дали, чтоб я написал фельетон.

Я просматриваю эти письма. Они беспомощны, комичны. Но вместе с тем они серьезны. Еще бы! Речь идет о немаловажном житейском деле — о банях.

Набросав план, я принимаюсь писать.

Уже первые строчки смешат меня. Я смеюсь. Смеюсь все громче и громче. Наконец хохочу так, что карандаш и блокнот падают из моих рук.

Снова пишу. И снова смех сотрясает мое тело.

Нет, в дальнейшем, переписывая рассказ, я уже не буду так смеяться. Но первая запись меня всегда невероятно смешит.

От смеха я чувствую боль в животе.

В стену стучит сосед. Он бухгалтер. Ему завтра рано вставать. Я мешаю ему спать. Он сегодня стучит кулаком. Должно быть, я его разбудил. Досадно.

Я кричу:

— Извините, Петр Алексеевич...

Снова берусь за блокнот. Снова смеюсь, уже уткнувшись в подушку.

Через двадцать минут рассказ написан. Мне жаль, что так быстро я его написал.

Я подхожу к письменному столу и переписываю рассказ ровным, красивым почерком. Переписывая, я продолжаю тихонько смеяться. А завтра, когда буду читать этот рассказ в редакции, я уже смеяться не буду. Буду хмуро и даже угрюмо читать.

Два часа ночи. Я ложусь. Но долго не могу заснуть. Обдумываю темы новых рассказов.

Светает. Я принимаю бром, чтобы заснуть.

Снова чепуха

Редакция толстого журнала «Современник».

Я дал в этот журнал пять самых лучших маленьких рассказов. И вот пришел за ответом.

Передо мной один из редакторов — поэт М. Кузмин. Он изысканно вежлив. Даже сверх меры. Но по его лицу я вижу, что он намерен мне сообщить нечто неприятное.

Он мнется. Я выручаю его.

— Вероятно, мои рассказы не совсем в плане журнала? — говорю я.

Он говорит:

— Понимаете, у нас толстый журнал... А ваши рассказы... Нет, они очень смешны, забавны... Но они написаны... Ведь это...

— Чепуха? Вы хотите сказать, — спрашиваю я. И в моем мозгу загорается надпись под гимназическим сочинением — «Чепуха».

Кузмин разводит руками.

— Боже сохрани. Я вовсе не хочу этого сказать. Напротив. Ваши рассказы очень талантливы... Но согласитесь сами — это немножко шарж.

— Это не шарж, — говорю я.

— Ну, взять хотя бы язык...

— Язык не шаржирован. Это синтаксис улицы... наро-

да... Быть может, я немного утрировал, чтоб это было сатирично, чтоб это критиковало...

— Не будем спорить, — говорит он мягко. — Вы дайте нам обыкновенную вашу повесть или рассказ... И поверьте — мы очень ценим ваше творчество.

Я ухожу из редакции. У меня уже нет тех чувств, какие я когда-то испытывал в гимназии. У меня нет даже досады.

— Бог с ними, — думаю я. — Обойдусь без толстых журналов. Им нужно нечто «обыкновенное». Им нужно то, что похоже на классику. Это им импонирует. Это сделать весьма легко. Но я не собираюсь писать для читателей, которых нет. У народа иное представление о литературе.

Я не огорчаюсь. Я знаю, что я прав.

В пивной

День. Солнце. Я иду по Невскому. Навстречу идет С. Есенин.

Он в элегантном синем пальто с поясом. Без шляпы.

Лицо у него бледное. Глаза потухшие. Он медленно идет. Что-то бормочет. Я подхожу к нему.

Он хмур, неразговорчив. Какое-то уныние во всем его облике.

Я хочу уйти, но он не отпускает меня.

— Вам нехорошо? Вы нездоровы? — спрашиваю я его.

— А что? — тревожно спрашивает он. — У меня плохой вид?

И вдруг смеется. Говорит:

— Старею, милый друг... Скоро ударит тридцать...

Мы доходим до Европейской гостиницы.

Минуту Есенин стоит у подъезда, потом говорит:

— Зайдемте напротив. В пивную. На минуту.

Мы входим в пивную.

За столиком поэт В. Воинов с друзьями. Он радостно идет нам навстречу. Мы садимся за его столик. Кто-то разливает пиво по кружкам.

Есенин что-то говорит официанту. И тот приносит ему стакан рябиновки.

Закрыв глаза, Есенин пьет. И я вижу, как с каждым

глотком к нему возвращается жизнь. Щеки его делаются ярче. Жесты уверенней. Глаза зажигаются.

Он хочет снова позвать официанта. Чтобы отвлечь, я прошу его почитать стихи...

Он соглашается почему-то с готовностью и даже с радостью.

Встав со стула, он читает поэму «Черный человек».

Вокруг столика собираются люди. Кто-то говорит: «Это Есенин».

Нас окружает почти вся пивная.

Еще минута, и Есенин стоит на стуле и, жестикулируя, читает свои короткие стихи.

Он чудесно читает, и с таким чувством, и с такой болью, что это всех потрясает.

Я видел много поэтов на эстраде. Я видел их необычайный успех, видел овации, восторг всего зала, но я никогда не видел таких чувств и такой теплоты, как к Есенину.

Десятки рук подхватывают его со стула и несут к столику. Все хотят чокнуться с ним. Все хотят дотронуться до него, обнять, поцеловать.

Тесным кольцом толпа окружает столик, за которым он теперь сидит.

Я выхожу из пивной.

Я сам виноват

Вечер. Я иду по Невскому с К.

Я познакомился с ней в Кисловодске.

Она красива, остроумна, весела. В ней та радость жизни, которой нет во мне. И, может быть, это меня больше всего в ней прельщает.

Мы идем нежно взявшись за руки. Мы выходим на Неву. Идем по темной набережной.

К. без конца что-то говорит. Но я не очень вникаю в ее речь. Я слушаю ее слова, как музыку.

Но вот я слышу какое-то недовольство в этой музыке. Я прислушиваюсь.

— Вторую неделю мы ходим с вами по улицам, — говорит она. — Мы обошли все эти дурацкие набережные, са-

ды. Мне просто хотелось бы посидеть с вами в какой-нибудь гостиной, поболтать, выпить чаю.

— Зайдемте в кафе, — говорю я.

— Нет, там нас могут увидеть.

Ах, да. Я совсем забыл. У нее сложная жизнь. Ревнивый муж, очень ревнивый любовник. Много врагов, которые сообщают, что нас видели вместе.

Мы останавливаемся на набережной. Обнимаем друг друга. Целуемся. Она бормочет:

— Ах, как глупо, что это улица.

Мы снова идем и снова целуемся. Она закрывает свои глаза рукой. У нее кружится голова от этих бесконечных поцелуев.

Мы доходим до ворот какого-то дома. К. бормочет:

— Я должна зайти сюда, к портнихе. Вы подождите меня здесь. Я только примерю платье и сейчас же вернусь.

Я хожу около дома. Хожу десять минут, пятнадцать, наконец она появляется. Веселая. Смеется.

— Все хорошо, — говорит она. — Получается очень милое платье. Оно очень скромное, без претензий.

Она берет меня под руку, и я провожаю ее до дома. Я встречаюсь с ней через пять дней. Она говорит:

— Если хотите, сегодня мы можем встретиться с вами в одном доме — у одной моей знакомой.

Мы подходим к какому-то дому. Я узнаю этот дом. Здесь, у ворот, я ждал ее двадцать минут. Это дом, где живет ее портниха.

Мы поднимаемся на четвертый этаж. Она открывает квартиру своим ключом. Мы входим в комнату. Это хорошо обставленная комната. Непохоже, что это комната портнихи.

По профессиональной привычке я перелистываю книжку, которую я нахожу на ночном столике. На заглавном листе я вижу знакомую мне фамилию. Это фамилия возлюбленного К.

Она смеется.

— Да, мы в его комнате, — говорит она. — Но вы не беспокойтесь. Он на два дня уехал в Кронштадт.

— К.! — говорю я, — я беспокоюсь о другом. Значит, тогда вы были у него?

— Когда? — спрашивает она.

— Тогда, когда я ждал вас у ворот двадцать минут.

Она смеется. Закрывает мне рот поцелуем. Говорит:

— Вы были сами виноваты.

Двадцать третье сентября

Окно моей комнаты выходит на угол Мойки и Невского.

Я подхожу к окну. Необыкновенная картина — река вздулась, почернела. Еще полметра и вода выйдет из берегов.

Я бегу на улицу.

Ветер. Неслыханный ветер дует с моря.

Я иду по Невскому. Я взволнован и возбужден. Дохожу до Фонтанки. Фонтанка почти сравнялась с мостовой. Кое-где вода плещется на тротуаре.

Я вскакиваю в трамвай и еду на Петроградскую сторону. Там живет моя семья — жена и крошечный сын. Они живут у своих родных. Я переехал в Дом искусств, чтоб крики младенца не мешали моей работе.

Теперь я спешу к ним. Они живут в первом этаже на Пушкарской. Быть может, им нужно перебраться во второй этаж.

Трамвай въезжает на Александровский проспект. Мы едем по воде. Останавливаемся. Дальше ехать нельзя. Деревянные торцы всплыли и мешают трамваю двигаться.

Пассажиры соскакивают в воду. Здесь не глубоко — до колена.

Я иду по воде и дохожу до Большого проспекта. На проспекте еще нет воды.

Я почти бегу на Пушкарскую. Вода не дошла сюда.

Мои встревожены и взволнованы. Они очень рады, что я пришел и теперь с ними.

Переодевшись, я снова иду на улицу. Мне хочется увидеть — прибывает ли вода.

Я выхожу на Большой проспект. Покупаю хлеб в булочной. Подхожу к Введенской. Сухо.

И вдруг необычайная картина — вода выступает из всех люков и стремительно заливает мостовую. Снова по воде я иду домой.

Вода уже на ступеньках лестницы.

С узлами мы переходим во второй этаж.

На ступеньках лестницы я делаю отметки мелом, чтоб видеть, как идет повышение.

В пять часов дня вода уже плещется у дверей.

Темнеет. Я сижу у окна и прислушиваюсь к завыванию ветра.

Теперь почти весь город в воде. Вода поднялась почти на две сажени.

На темном небе зарево каких-то пожаров.

Светает. Из окна я вижу, как вода постепенно уходит.

Я выхожу на улицу. Ужасное зрелище. На проспекте барка с дровами. Бревна. Лодки. На боку лежит суденышко с мачтой.

Всюду разгром, хаос, разрушение.

Поезд опоздал

Аля пришла ко мне запыхавшись. Она сказала:

— Еле отпустил... Я говорю: «Ну, пойми, Николай, — я же должна проводить мою лучшую подругу — она уезжает в Москву и неизвестно когда вернется...».

Я спросил Алю:

— Когда поезд уходит с твоей подругой?

Она засмеялась, захлопала в ладоши.

— Вот видишь, — сказала она, — и ты поверил... Никто не уезжает. Это я выдумала, чтобы придти к тебе.

— Поезд в Москву уходит в десять тридцать, — сказал я. — Значит ты должна быть дома около одиннадцати.

Было уже двенадцать, когда она взглянула на часы. Она вскрикнула. Подбежала к телефону, даже не надев туфли.

Сняв трубку, она села в кресло. Она дрожала от холода и от волнения.

Я бросил ей плед. Она прикрыла пледом свои ноги.

Она была удивительно хороша — почти, как на картине Ренуара.

— Зачем ты звонишь? — сказал я ей. — Лучше скорей оденься и иди.

Она с досадой махнула рукой в мою сторону.

— Николаша, — сказала она в трубку. — Представь се-

бе, поезд опоздал и только что ушел. Через десять минут я буду дома.

Я не знаю, что сказал ей муж, но она ответила:

— Я же тебе русским языком говорю — поезд опоздал. Сейчас буду дома.

Должно быть, муж сказал, что уже двенадцать.

— Разве? — сказала она. — Ну не знаю, как на твоих часах, а здесь, на вокзальных...

Она закинула свою голову вверх и посмотрела на мой потолок.

— Здесь, на вокзальных, — повторила она, — ровно одиннадцать.

Она прищурила свои глаза, как бы всматриваясь в далекие вокзальные часы.

— Да, — сказала она, — ровно одиннадцать, даже две минуты двенадцатого. У тебя архирейские часы...

Повесив трубку, она стала смеяться.

Сейчас эта маленькая кукла, набитая опилками, была бы самая желанная гостья у меня. Но тогда я на нее рассердился. Я сказал:

— Зачем же так бесстыдно врать. Он проверит свои часы и увидит твое вранье.

— Зато он поверил, что я на вокзале, — сказала она, подкрашивая губы.

Подкрасив губы, она добавила:

— А потом что за нотации. Я вовсе не желаю этого слушать. Я сама знаю, как мне поступать. Он бегает с револьвером, грозит убить моих друзей и меня в том числе... Кстати, он не посчитается, что ты писатель... Я уверена, что он и в тебя великолепно выстрелит.

Я что-то буркнул в ответ.

Одевшись, она сказала:

— Ну что, рассердился? Может быть, мне не приходить больше?

— Как хочешь, — ответил я.

— Да, я больше к тебе не приду, — сказала она. — Я вижу, что ты совершенно меня не любишь.

Она ушла, надменно кивнув мне головой. Она сделала это великолепно для своих девятнадцати лет.

Боже мой, как плакал бы я теперь! А тогда я был доволен. Впрочем, через месяц она вернулась.

За столиком

Москва. Я сижу за столиком в каком-то театральном клубе. На моем столике — второй прибор. Это будет ужинать Маяковский. Он заказал еду и пошел сыграть на биллиарде. Сейчас вернется.

Я почти не знаю Маяковского. Мы встречались только на вечерах, в театре, на людях.

Вот он подходит к столику. Он дышит тяжело. Лицо у него невеселое. Он мрачен. Платком вытирает лоб.

Он выиграл партию, но это его не развлекло. Он садится за столик как-то грузно, тяжело.

Мы молчим. Почти не разговариваем. Я наливаю ему пива. Он отпивает один глоток и отставляет стакан.

Я тоже мрачен. И мне не хочется искусственно завязывать разговор. Но Маяковский для меня мэтр. Я почти новичок в литературе, работаю всего пять лет. Мне как-то совестно, что я молчу. Я начинаю что-то бормотать о биллиарде, о литературе.

Мне с ним почему-то удивительно нелегко.

Я говорю нескладно, вяло. И на полуслове смолкаю. Неожиданнно Маяковский смеется.

— Нет, послушайте, — говорит он, — это мне просто нравится. Я думал, что вы будете острить, шутить, балагурить, а вы... Нет это просто здорово! Просто поразительно здорово...

— Почему же я должен острить?

— Ну — юморист!.. Полагается... А вы...

Он смотрит на меня немного тяжелым взглядом. У него удивительно невеселые глаза. Какой-то мрачный огонь в них.

— А почему вы... такой? — спрашивает он.

— Не знаю. Сам ищу причину.

— Да? — спрашивает он настороженно. — Вы полагаете, есть причина? Больны?

Мы начинаем говорить о болезнях. Маяковский насчитывает у себя несколько недомоганий — с легкими что-то нехорошо, желудок, печень. Он не может пить и даже хочет бросить курить.

Я замечаю еще одно недомогание Маяковского — он мнителен даже больше, чем я. Он дважды вытирает салфеткой свою вилку. Потом вытирает ее хлебом. И, наконец, вы-

тирает ее платком. Край стакана он тоже вытирает платком.

К нашему столику подходит знакомый актер. Наш разговор прерывается. Маяковский говорит мне:

— Я вам позвоню в Ленинграде.

Я даю ему свой телефон.

Выступление

Я согласился на выступления в нескольких городах. Это был несчастный день в моей жизни.

Первое выступление было в Харькове, потом в Ростове.

Я был озадачен. Меня встречали бурей аплодисментов, а провожали едва хлопая. Значит, чем-то я не угождаю публике, чем-то ее обманываю. Чем?

Это правда, я читаю не по-актерски, однотонно, иной раз вяло. Но неужели на мой вечер приходят только, как на вечер «юмориста»? В самом деле! Может, думают: если актеры так смешно читают, то что же отколет сейчас сам автор.

Каждый вечер превращается для меня в пытку.

С трудом я выхожу на эстраду. Сознание, что я сейчас снова обману публику, еще более портит мое настроение. Я раскрываю книгу и бормочу какой-то рассказ.

Кто-то сверху кричит:

— «Баню» давай... «Аристократку»... Чего ерунду читаешь!

Боже мой! — думаю я. — Зачем я согласился на эти вечера.

Я с тоской поглядываю на часы.

На сцену летят записки. Это передышка для меня. Я закрываю книгу.

Разворачиваю первую записку. Оглашаю ее:

«Еесли вы автор этих рассказов, то зачем вы их читаете?»

Я раздражен. Кричу в ответ:

— А если вы читатель этих рассказов, то какого лешего вы их слушаете!

В публике смех, аплодисменты.

Я раскрываю вторую записку:

«Чем читать то, что мы все знаем, расскажите покомичней, как вы к нам доехали».

Бешеным голосом я кричу:

— Сел в поезд. Родные плакали, умоляли не ехать. Говорили: замучают идиотскими вопросами.

Взрыв аплодисментов. Хохот.

Ах, если б мне сейчас пройтись на руках по сцене или прокатиться на одном колесе — вечер был бы в порядке.

Устроитель моих вечеров шепчет мне из-за кулис:

— Расскажите что-нибудь о себе. Это нравится публике.

Покорно я начинаю рассказывать свою биографию.

На сцену снова летят записки:

«Вы женаты?.. Сколько у вас детей?.. Знакомы ли вы с Есениным?..».

Без четверти одиннадцать. Можно кончать.

Печально вздохнув, я ухожу со сцены под жидкие аплодисменты.

Я утешаюсь тем, что это не мои читатели. Я утешаюсь тем, что это зрители, которые с одинаковым рвением явились бы на вечер любого комика и жонглера.

Не выполнив договор до конца, я уезжаю в Ленинград.

Звери

Я брожу по дорожкам Ленинградского зоологического сада.

В клетке — великолепный огромный тигр. Рядом с ним небольшая белая собачонка — фокстерьер. Она выкормила этого тигра. И теперь, на правах матери, находится с ним в одной клетке.

Тигр дружелюбно поглядывает на нее.

Изумительное зрелище.

Вдруг позади себя я слышу ужасающий крик.

Вся публика бежит к клетке, в которой находятся бурые медведи.

Мы видим ужасную сцену. Рядом с бурыми медведями клетка с медвежатами. Кроме железных прутьев, обе клетки разделены досками.

Маленький медвежонок полез по этим доскам наверх,

но его лапчонка попала в расщелину. И теперь бурый медведь яростно терзает эту маленькую лапку.

Вырываясь и крича, медвежонок попадает второй лапой в расщелину. Теперь второй медведь берется за эту лапу.

Оба они терзают медвежонка так, что кто-то из публики падает в обморок.

Песком и камнями мы стараемся отогнать медведей. Но они приходят еще в большую ярость. Уже одна лапчонка с черными коготками валяется на полу клетки.

Я беру какой-то длинный шест и бью этим шестом медведя.

На ужасный крик и рев медведей бегут сторожа, администрация.

Медвежонка отрывают от досок.

Бурые медведи яростно ходят по клетке. Глаза у них налиты кровью. И морды их в крови. Рыча, самец покрывает самку.

Несчастного медвежонка несут в контору. У него оторваны передние лапы.

Он уже не кричит. Вероятно, его сейчас застрелят. Я начинаю понимать, что такое звери. И в чем у них разница с людьми.

Враги

Воскресенье. Я иду по улице. Кто-то вскрикивает: «Миша!»

Я вижу женщину. Она одета простенько, в руках у нее кошелка с провизией.

— Миша, — повторяет женщина, и слезы текут из ее глаз.

Передо мной сестра Нади В. — Катя.

— Боже мой, — бормочет она. — Это вы... это вы...

Мое сердце ужасно колотится.

— Разве вы не уехали? — спрашиваю я. — А где Надя? Ваши?

— Надя и Маруся в Париже... Идемте ко мне, я вам все расскажу... Только не удивляйтесь — я живу очень скромно... Мой муж очень хороший человек... Он уважает и жалеет меня... Он простой рабочий...

Мы входим в маленькую комнату.

Из-за стола поднимается человек. Ему лет сорок. Поздоровавшись, он тотчас надевает свое пальто и уходит.

— Вот видите, какой он хороший, деликатный, — говорит Катя. — Он сразу понял, что нам нужно поговорить.

Мы садимся на диван. Волнение душит нас. Катя начинает плакать. Она так плачет, что кто-то, открыв двери, спрашивает, что случилось.

— Ничего, — резко кричит Катя.

Рыдания снова потрясают ее. Она, вероятно, плачет о том, что было. Вероятно, она во мне видит прошлое. Свою юность, свои детские годы. Я успокаиваю ее.

Подойдя к умывальнику, она вытирает свое заплаканное лицо, громко сморкается.

Затем начинает рассказывать. В семнадцатом году они уехали на юг, с тем чтоб пробраться на Кавказ и оттуда за границу. Но в Ростове отец заболел сыпным тифом. Ждать нельзя было. Оставались считанные дни. Сестры бросили жребий — кому остаться с отцом. Осталась Катя. Она очень бедствовала, когда умер отец. Она служила уборщицей, потом домработницей. Потом ей удалось уехать в Ленинград. Но здесь ей было не легче — она не имела ни квартиры, ни друзей.

— Почему ж вы не обратились ко мне, — спрашиваю я. — Должно быть, вы слышали обо мне...

— Да. Но я никак не думала, что это вы.

Катя стала говорить о сестрах. Старшая пишет, а Надя нет. Она ненавидит все, что осталось в России.

— А если я ей напишу? — спрашиваю я.

Катя говорит.

— Вы знаете Колю М. Вы помните, как он ее любил. Он написал ей. Она прислала ему открытку, в которой было три слова: «Теперь мы враги».

Мы расстались с Катей. Я обещал к ней заходить.

Это возмутительно

Пришла Аля. Лицо у нее бледное, и в глазах тоска. Молча она развернула пестрый шарфик, повязанный вокруг шеи. Слегка откинула голову.

На ее шее я увидел пять синих пальцев. Вероятно кто-то ее душил. Я вскрикнул:

— Аля, что случилось?

Она глухо сказала:

— Николай все узнал. Он хотел задушить меня, но я подняла такой крик, что сбежались люди.

Она стала плакать. Сквозь слезы она сказала:

— Ах, зачем я приходила к тебе. Вот и кончилась моя спокойная жизнь. К нему уже я не вернусь. Я перееду к маме и буду изредка приходить к тебе.

Я поставил согревающий компресс на ее шею и, взяв машину, отвез Алю к маме.

Я был необычайно взволнован. Я не помню, на что я рассчитывал, но в тот же вечер я пошел к ее мужу. К моему удивлению, он встретил меня спокойно.

Я сказал ему:

— Я не ожидал от вас такой гадости. Вы могли бы расстаться с ней, уйти... Но душить эту маленькую девочку... Это возмутительно...

Я думал, что он будет кричать на меня, может быть даже выгонит. Но он, не двигаясь, сидел в кресле, низко опустив голову:

Он тихо сказал:

— Она довела меня до сумасшествия... Я подозревал, что она неверна мне... Но вчера в ее сумочке я нашел вот эту записку. Полюбуйтесь...

Он швырнул записку на стол. Она была адресована актеру Н., с которым я несколько раз видел Алю на улице.

Записка не оставляла никаких сомнений — она была интимна в высшей степени.

Я был так поражен, даже потрясен. Я был так потрясен, что сначала даже не сообразил, что обо мне муж ничего не знает и что речь идет об актере.

Я растерянно взглянул на мужа. Не менее растерянно он посмотрел на меня.

— А собственно какое вам до этого дело? — спросил он. — Вы что, ее видели сегодня? Она была у вас?.. Разве она бывала у вас раньше?

В его глазах я вдруг прочел догадку.

Я закрыл рукой свои глаза.

— Боже мой! — закричал он. — Значит она... Значит вы... — у него вдруг хватило чувства иронии — усмехнуться. Поч-

ти спокойно он сказал: — Значит, она и вас обманула... Это здорово...

Мы расстались холодно. Почти не прощаясь.

Я шел домой, как в бреду. В моей голове был хаос. Мне хотелось решить вопрос почему именно ко мне она пришла со своими синяками. Потом я успокоился на том, что до меня она с этими синяками была у актера.

Хорошо

Я пробую работать — не могу. Ложусь на диван — через минуту вскакиваю. Я испытываю какое-то нервное состояние, которое не позволяет мне даже несколько минут быть спокойным.

Я снова сажусь за стол. Я заставлю себя сидеть спокойно! Заставлю себя работать. Хотя бы мне это стоило жизни.

Беру карандаш. Пишу. Но мысли у меня вялые. Фантазии нет. Фразы бледные. Что-то случилось в моей душе. Я что-то потерял. Погас какой-то огонь. Перестала играть музыка, под которую плясала моя жизнь, моя работа...

Я сижу у стола, уронив голову на руки.

Ко мне приходят строчки из Байрона:

И гений мой поблек, как лист осенний,
В фантазии уж прежних крыльев нет.
И горестной действительности сила
Мой романтизм в злой юмор превратила.

Я с яростью ломаю карандаш и рву бумагу. Выхожу на улицу. Чудесная осень. Желтые листья. Синее небо. Может быть, ходьба приведет меня в равновесие.

Я прохожу мимо деревянного домика. На ступеньках сидит дряхлый старик. Он сидит на солнышке. Он сидит удивительно спокойно. Глаза у него закрыты. Я вижу тихую и блаженную улыбку на его морщинистом лице.

Но ведь ему не меньше восьмидесяти лет! Быть может, у него остался всего год жизни, а он так спокойно, так блаженно сидит.

Почему же я, мальчишка в сравнении с ним, должен дер-

гаться, вскакивать, волноваться, бегать. Я желаю так же спокойно, с такой же блаженной душой сидеть на крыльце. Почему мне недоступно это маленькое счастье.

Старик открывает глаза. Смотрит на меня.

— Хорошо! — говорит он.

Понуро я иду дальше.

Безумие

В мою комнату входит человек. Он садится в кресло.

Минуту он сидит молча, прислушиваясь. Потом встает и плотно прикрывает дверь.

Подходит к стене и, приложив к ней ухо, слушает.

Я начинаю понимать, что это сумасшедший.

Послушав у стены, он снова садится в кресло и двумя руками закрывает свое лицо. Я вижу, что он в отчаянии.

— Что с вами? — спрашиваю я.

— За мной гонятся, — говорит он. — Я сейчас ехал в трамвае и ясно слышал голоса: «Вот он... берите его... хватайте...».

Он снова закрывает лицо руками. Потом тихо говорит:

— Только вы один можете меня спасти...

— Каким образом?

— Мы поменяемся с вами фамилией. Вы будете — Горшков, а я — поэт Зощенко. (Он так и сказал — «поэт».)

— Хорошо. Я согласен, — говорю я.

Он бросается ко мне и пожимает мою руку.

— А кто же за вами гонится? — спрашиваю я.

— Этого я не могу сказать.

— Но я же должен знать с тех пор, как я ношу вашу фамилию.

Заламывая свои руки, он говорит:

— В том-то и дело, что я сам не знаю. Я только слышу их голоса. И ночью вижу их руки. Они тянутся ко мне со всех сторон. Я знаю — они схватят меня и задушат.

Его нервный озноб передается и мне. Я чувствую себя нехорошо. У меня кружится голова. Перед глазами круги. Если он сейчас не уйдет, я, вероятно, потеряю сознание. Он действует на меня убийственно.

Собравшись с силами, я бормочу:

— Идите. Теперь у вас моя фамилия. Вы можете быть спокойны.

С просветленным лицом он уходит.

Я ложусь в постель и чувствую, как ужасающая тоска охватывает меня.

В гостинице

Туапсе. Маленький номер гостиницы. Я почему-то лежу на полу. Руки у меня раскинуты. И пальцы рук в воде.

Это дождевая вода. Сейчас прошла гроза. Мне не хотелось подняться, чтоб закрыть окно. Это потоки дождя попали в комнату.

Я снова закрываю глаза и до вечера лежу в каком-то оцепенении.

Вероятно, следует перебраться на кровать. Там удобней. Подушка. Но мне не хочется подняться с полу.

Не поднимаясь, я протягиваю руку к чемодану и достаю яблоко. Я сегодня опять ничего не ел.

Я откусываю яблоко. Я жую его, как солому. Выплевываю. Неприятно. Я лежу до утра.

Утром кто-то стучит в дверь. Дверь на ключе. Я не открываю. Это уборщица. Она хотела бы убрать комнату. Хотя бы раз в три дня. Я говорю:

— Ничего не надо. Уходите.

Днем я встаю с трудом. Сажусь на стул.

Тревога охватывает меня. Я понимаю, что так не может дальше продолжаться. Я погибну в этом жалком номере, если немедленно не уеду отсюда.

Открыв чемодан, я лихорадочно собираю вещи. Потом зову горничную.

— Я заболел, — говорю я ей. — Меня нужно проводить на вокзал, достать мне билет... Скорей...

Горничная приводит администрацию и врача. Поглаживая мою руку, врач говорит:

— Нервы... Только нервы... Я вам выпишу бром...

— Мне нужно немедленно уехать, — бормочу я.

— Вы сегодня уедете, — говорит директор гостиницы.

Заключение

И вот мои воспоминания закончены.

Я дошел до 1926 года. Вплоть до тех дней, когда я перестал есть и чуть не погиб.

Передо мной шестьдесят три истории. Шестьдесят три происшествия, которые меня когда-то взволновали.

Каждую историю я стал пересматривать. В какой-нибудь из них я надеялся найти причину моей тоски, моих огорчений, моей болезни.

Но я ничего не увидел в этих историях.

Да, конечно, некоторые из них тягостны. Но не более тягостны, чем это привыкли испытывать люди. У каждого умирает мать. Каждый когда-нибудь покидает дом. Расстается с возлюбленной. Сражается на фронте...

Нет, ни в одной из этих историй я не нашел того, что искал.

Тогда все эти истории я сложил вместе. Я хотел увидеть общую картину, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня, как рыбу, которую вынули из воды и бросили в лодку.

Да, конечно, огромные потрясения выпали на мою жизнь. Перемена судьбы. Гибель старого мира. Рождение новой жизни, новых людей, страны.

Но ведь я-то не видел в этом катастрофы! Ведь я же сам стремился увидеть в этом солнце. Ведь и до этих событий тоска преследовала меня. Значит, это не решало дело. Стало быть, это не явилось причиной. Напротив, это помогло мне заново увидеть мир, страну, народ, для которого я стал работать... Тоски не должно быть в моем сердце! А она есть...

Я был обескуражен. Кажется, я задал себе непосильную задачу найти причину моей тоски, найти несчастное происшествие, которое сделало меня жалкой пылинкой, гонимой любым житейским ветром.

Может быть, это происшествие лежит в более раннем возрасте? — подумал я. — Может быть, детские годы подготовили зыбкую почву, по которой я теперь хожу спотыкаясь.

В самом деле! Почему я отбросил детские годы? Ведь это же первое знакомство с миром, первые впечатления, а

стало быть, и самые глубокие. Как можно было не посчитаться с этим!

Нет нужды и тут все вспоминать, — подумал я. — Достаточно вспомнить только самое яркое, самое сильное, только то, что было связано с моим душевным волнением.

И тогда с лихорадочной поспешностью я стал припоминать происшествия детских лет. И увидел, что и в детские годы душевное волнение необычайным светом осветило то, что произошло.

Это снова были моментальные снимки, с ослепительной силой оставшиеся в моем мозгу.

И вот, вспоминая эти детские истории, я увидел, что они волнуют меня еще больше, чем истории взрослых лет. Я увидел, что они волнуют меня значительно больше, чем даже желание найти причину моих несчастий.

IV. СТРАШНЫЙ МИР

Только в сказке блудный сын
возвращается в отчий дом.

Итак, я стал вспоминать самые яркие сцены из моего детства.

Среди этих сцен, связанных с душевным волнением, я надеялся найти несчастное происшествие, надеялся найти причину и объяснение моей ужасной тоски.

С какого же возраста мне начать? — подумал я.

Комично начать с года. Комично вспоминать то, что было в два и в три года. И даже в четыре. Подумаешь, великие дела произошли в столь мелком возрасте. Побрякушку отняли. Соску в горшок уронил. Петуха испугался. Мамаша нашлепала по заднице... Что ж вспоминать об этих мизерных делах, о которых, кстати сказать, я почти ничего и не помню.

Я должен начать с пяти лет, — подумал я.

И тогда стал вспоминать то, что случилось в моей жизни с пяти до пятнадцати лет.

И вот, перебирая в памяти истории этих лет, я неожиданно почувствовал страх и даже какой-то трепет. Я подумал: значит, я на верном пути. Значит, рана где-то близко. Значит, теперь я найду это печальное происшествие, испортившее мне мою жизнь.

С 5 до 15 лет

Скорее сбросить тягостную память
Моих воображаемых обид...

Я больше не буду

На столе тарелка. На тарелке винные ягоды.

Забавно жевать эти ягоды. В них множество косточек. Они славно хрустят на зубах. За обедом нам дали только лишь по две таких ягоды. Это чересчур мало для детей.

Я влезаю на стул. Решительным жестом пододвигаю к себе тарелку. И откусываю одну ягоду.

Так и есть — множество косточек. Интересно, во всех ли ягодах то же самое?

Перебирая ягоды, я откусываю от них по кусочку. Да, все то же самое.

Конечно, это нехорошо, и я не должен этого делать. Но ведь я съедаю не всю ягоду. Я откусываю только небольшой кусочек. Почти вся ягода остается в распоряжении взрослых.

Откусив от всех ягод по кусочку, я спускаюсь со стула и хожу вокруг стола.

Приходят отец и мать.

— Я не ел винные ягоды, говорю я им тотчас. — Я только откусил по кусочку.

Взглянув на тарелку, мать всплескивает руками. Отец смеется. Но он хмурится, когда я гляжу на него.

— Пойдем, я тебя немножко попорю, — говорит мать, — чтоб ты лучше запомнил о том, что не следует делать.

Она тащит меня к кровати. И берет тонкий поясок.

Плача и рыдая, я кричу:

— Я больше не буду.

Не надо стоять на улице

Я стою у ворот нашего дома. Не у самых ворот, а у тумбы.

Дальше тумбы я не иду. Нельзя. Может задавить извозчик.

Вдруг я вижу — на меня катится двухколесный велосипед, на котором сидит человек в кепке.

Что ж он не звонит? Велосипедисты должны звонить, когда наезжают на людей.

Я отбегаю в сторону. Но велосипед снова катится на меня.

Секунда — и человек в кепке падает. И падаю я. И велосипед падает на меня.

Из моего носа хлещет кровь.

Увидев кровь, я начинаю так орать, что сбегаются люди. Даже прибегает одноногий газетчик, который стоит на нашем углу.

Расталкивая людей, прибегает моя мать.

Увидев, что я лежу, она бьет по щеке велосипедиста так, что у того с головы падает кепка.

Потом она хватает меня на руки и несет по лестнице.

На лестнице она осматривает и ощупывает меня. Все цело. Только из носа течет кровь и на ноге ссадина.

Мать говорит:

— Жалко, я не знала, что он тебе ногу повредил. Я бы ему оторвала голову.

Папа говорит мне:

— Ты сам виноват. Не надо стоять на улице.

Золотые рыбки

На подоконнике банка с золотыми рыбками.

В банке плавают две рыбешки.

Я бросаю им крошки сухаря. Пусть покушают. Но рыбки равнодушно проплывают мимо.

Должно быть, им здорово плохо, что они не кушают. Еще бы, целые дни в воде. Вот если бы они просто полежали на подоконнике. Тогда, может быть, у них появился бы аппетит.

Засунув руку в банку, я вытаскиваю рыбешек и кладу их на подоконник. Нет, тут им тоже неважно. Они бьются. И тоже отказываются от еды.

Я снова бросаю рыбешек в воду.

Однако, в воде им еще хуже. Посмотрите, они даже пла-

вают теперь брюшком вверх. Должно быть, просятся из банки.

Я снова вытаскиваю рыбешек и кладу их в папиросную коробку.

Через полчаса я открываю коробку. Рыбки околели.

Мамаша сердито говорит:

— Зачем ты это сделал?

Я говорю:

— Я хотел, чтоб им было лучше.

Мать говорит:

— Не притворяйся идиотиком. Рыбки созданы, чтобы жить в воде.

Я горько плачу от обиды. Я сам знаю, что рыбки созданы жить в воде. Но я хотел избавить их от этого несчастья.

В зоологическом саду

Мать держит меня за руку. Мы идем по дорожке.

Мать говорит:

— Зверей потом посмотрим. Сначала будет состязание для детей.

Мы идем на площадку. Там множество детей.

Каждому ребенку дают мешок. Надо влезть в этот мешок и завязать его на груди.

Вот мешки завязаны. И дети в мешках поставлены на белую черту.

Кто-то машет флагом и кричит: «Бегите!»

Путаясь в мешках, мы бежим. Многие дети падают и ревут. Некоторые из них поднимаются и с плачем бегут дальше.

Я тоже чуть не падаю. Но потом, ухитрившись, быстро передвигаюсь в этом своем мешке.

Я первый подхожу к столу. Играет музыка. И все хлопают. И мне дают коробку мармеладу, флажок и книжку с картинками.

Я подхожу к матери, прижимая подарки к своей груди.

На скамейке мама приводит меня в порядок. Она причесывает мне волосы и платком вытирает мое запачканное лицо.

После этого мы идем смотреть обезьян.

Интересно, кушают ли обезьяны мармелад? Надо их угостить.

Я хочу угостить обезьян мармеладом, но вдруг вижу, что в моих руках нет коробки...

Мама говорит:

— Наверное, мы коробку оставили на скамейке.

Я бегу к скамейке. Но там уже нет моей коробки с мармеладом.

Я плачу так, что обезьяны обращают на меня внимание.

Мама говорит:

— Наверно, украли нашу коробку. Ничего. Я тебе куплю другую.

— Я эту хочу! — кричу я так громко, что тигр вздрагивает и слон поднимает хобот.

На берегу

Мы на даче. Играем на берегу.

Вдруг моя старшая сестра Леля кричит:

— Господа, Юля потонула.

Я смотрю по сторонам. Действительно, нигде нет моей младшей сестренки Юли.

Леля кричит:

— Так и есть! Вот ее шляпа плывет по воде.

Действительно, соломенная шляпа Юли плывет по реке.

Что есть духу я бегу к нашей даче. Кричу:

— Мама! Юля утонула.

Мама бежит к реке так, что я еле поспеваю за ней.

Увидев, что Юлина шляпа плывет по воде, мама падает в обморок.

В это время Леля кричит:

— Нет, господа, Юля не потонула. Вот она плывет на лодке. Она хочет догнать свою шляпу.

Действительно, видим, Юля стоит в лодке и, ворочая веслом, плывет за своей шляпой. Но течение быстрое. И шляпа ее далеко.

Я говорю:

— Мама, приди в себя, оказывается, Юля не потонула.

Увидев Юлю в лодке, мама кричит:

— Юля, плыви назад! Тебя унесет на середину реки.

Леля говорит:

— Она бы и рада плыть назад, но не может. Ей не справиться с веслом. Вон куда ее унесло.

Тут мы видим, что Юлю отнесло далеко от берега.

И она испуганно кричит: «Помогите!».

Услышав ее крик, мама снова падает в обморок.

Тут какой-то мужчина садится в другую лодку и плывет к Юле.

Я говорю маме:

— Мама, не бойся. Юлю сейчас спасут. Юлину лодку мужчина привязывает к своей лодке.

И вскоре Юля на берегу.

Плача и целуя Юлю, мама уносит ее домой.

Коровы идут

Из рогатки я стреляю в птичку. Птичка улетает и садится на дерево, которое довольно далеко от нашего дома.

Из сада не велено уходить. Но раз такой исключительный момент, это допустимо.

И вот по дороге я бегу за птичкой.

Вдруг позади себя я слышу мычание.

Оглядываюсь. Боже мой, идет стадо коров.

Отступление отрезано. Домой уже не добежать.

Коровы совсем близко. Заметавшись, я влезаю на дерево.

Теперь коровы под деревом.

Интересно отметить, что они не уходят.

Они, как нарочно, встали у дерева и щиплют траву. Делают вид, что не замечают меня.

Может быть, они рассчитывают на то, что я сейчас сойду, и тогда они забодают меня? Но я не так глуп, как они думают. Я не сойду с дерева, пока не уйдет все стадо.

Только бы не обломился сучок, на котором я сижу. Вот если обломится сучок, тогда дела мои плохи. Тогда я как раз упаду между двух этих коров. И они поднимут меня на рога.

Идет пастух. Он хлопает бичом.

Это знакомый пастух Андрюшка. С ним можно договориться.

— Андрюшка, — кричу я, — гони этих коров, которые под деревом! Что они тут расположились и еще кушают!

Андрюшка хлопает бичом. Коровы нехотя уходят.

Теперь нестрашно. Я даже нацеливаюсь из рогатки и пускаю камешек в уходящих коров.

Потом слезаю с дерева и виноватой походкой иду в сад.

Гроза

Со своей сестрой Лелей я иду по полю и собираю цветы.

Я собираю желтые цветы. Леля собирает голубые.

Позади нас плетется младшая сестренка Юля. Она собирает белые цветы.

Это мы нарочно так собираем, чтоб было интересней собирать.

Вдруг Леля говорит:

— Господа, глядите, какая туча.

Мы смотрим на небо. Тихо надвигается ужасная туча. Она такая черная, что все темнеет вокруг. Она ползет, как чудовище, обволакивая все небо.

Леля говорит:

— Скорей домой. Сейчас будет жуткая гроза.

Мы бежим домой. Но бежим навстречу туче. Прямо в пасть этому чудовищу.

Неожиданно налетает ветер. Он крутит все вокруг нас.

Пыль поднимается. Летит сухая трава. И сгибаются кусты и деревья.

Что есть духу мы бежим домой.

Вот уже дождь крупными каплями падает на наши головы.

Ужасная молния и еще более ужасный гром потрясают нас. Я падаю на землю и, вскочив, снова бегу. Бегу так, как будто за мной гонится тигр.

Вот уж близко дом.

Я оглядываюсь назад. Леля тащит за руку Юлю. Юля ревет.

Еще сто шагов — и я на крыльце.

На крыльце Леля меня бранит, зачем я потерял свой желтый букетик. Но я его не потерял, я его бросил.

Я говорю:

— Раз такая гроза, зачем нам букеты?

Прижавшись друг к другу, мы сидим на кровати.

Ужасный гром сотрясает нашу дачу.

Дождь барабанит по стеклам и крыше.

От потоков дождя ничего не видно.

Бешеная собака

Мы вбегаем в дом и плотно закрываем двери.

Я подбегаю к окну и закрываю раму на крючок.

В окно мы смотрим на двор...

По двору идет хозяйская дочка Катя.

Мы стучим по стеклу и кричим ей:

— Катька, дура, беги скорей домой! Прячься! На улице бешеная собака.

Вместо того чтоб бежать домой, Катька подходит к нашему окну. И заводит разговор, как будто бы ничего особенного не случилось.

— А где вы видели эту собаку? — спрашивает она. — Да, может быть, она не бешеная.

Я начинаю сердиться на Катьку. Я кричу ей:

— Она двоих покусала. И если укусит тебя, мы не виноваты. Мы тебя предупредили.

Катя медленно идет к своему дому.

Бешеная собака вбегает на наш двор. Она черная и страшная. Хвост у нее висит книзу. Пасть раскрыта. Из пасти течет слюна.

Схватив грабли, Катя замахивается. И собака отбегает в сторону. Катя смеется.

Это невероятно. Бешеная собака испугалась Катьки. Я думал, что такие собаки ничего не боятся и всех кусают.

Вот бегут люди с палками. Они хотят убить собаку. Но собака убегает. Люди бегут за ней. Они кричат и улюлюкают.

Осмелев, мы открываем окно. Потом выходим в сад.

Конечно, в саду небезопасно. Собака может вернуться.

Кто ее знает. Но если сидеть на крыльце, то это ничего. Можно успеть убежать.

Однако. собака не возвращается. Ее убили на соседнем дворе.

Ну, теперь спите

В комнате темно. Только горит лампадка. У наших кроватей сидит нянька и рассказывает сказку.

Покачиваясь на стуле, нянька монотонно говорит:

«Сунула руку добрая фея под подушку, а там змея. Сунула руку под перинку, а там две змеи и гадюка. Заглянула фея под кроватку, а там четыре змеи, три гадюки и один еж.

Ничего на это добрая фея не сказала, только сунула свои ножки в туфельки, а в каждой туфельке по две жабы сидят. Сорвала фея с гвоздика свое пальто, чтоб одеться и уйти из этих мест. Глядит, а в каждом рукаве ее пальто по шесть гадюк и по четыре жабы.

Собрала фея всю эту нечисть вместе и говорит:

— Вот чего. Ничего худого я вам не желаю, но и вы не препятствуйте мне уйти из этих мест.

И тогда вся эта нечисть сказала и так ответила доброй фее:

— Ничего дурного и от нас вам не будет, добрая фея. Спасибо, что вы за это нас не убили.

Но тут раздался гром. Из-под земли выкинуло огонь. И перед доброй феей предстала злая фея.

— Это, — говорит, — я нарочно выпустила на тебя всю нечисть, но ты, — говорит, подружилась с ними, чем удивила меня. Благодаря этому я заколдую тебя в обыкновенную корову. Тут снова раздался гром. Глядим, а вместо доброй феи пасется обыкновенная корова...».

Нянька молчит. Мы трясемся от страха. Сестра Юля говорит:

— А вся другая нечисть что?

Нянька говорит:

— Про это я не знаю. Наверно, при виде злой феи они попрятались по своим местам.

— То есть под перину и под подушку? — спрашиваю я, отодвигаясь от подушки.

Нянька встает со стула и, уходя, говорит:

— Ну, хватит разговору. Спите теперь.

Мы лежим в постелях, боясь пошевелиться. Нарочно страшным голосом Леля хрипит: «Хо-о».

Мы с Юлей вскрикиваем от страха. Умоляем Лелю не пугать нас. Но она уже спит.

Я долго сижу на кровати, не рискуя лечь на подушку.

Утром я не пью молоко, оттого что оно от заколдованной феи.

Так просто

Мы сидим в телеге. Рыжеватая крестьянская лошаденка бойко бежит по пыльной дороге.

Правит лошаденкой хозяйский сынок Васютка. Он небрежно держит вожжи в руках и по временам покрикивает на лошадь:

— Ну, ну, иди... заснула...

Лошаденка совсем не заснула, она бежит хорошо. Но, вероятно, так полагается покрикивать.

У меня горят руки — так мне хочется подержать вожжи, поправить и покричать на лошадь. Но я не смею попросить об этом Васютку.

Вдруг Васютка сам говорит:

— Ну-ка, подержи вожжи. Я покурю.

Сестра Леля говорит Васютке:

— Нет, не давай ему вожжи. Он не умеет править.

Васютка говорит:

— Что значит не умеет? Тут нечего уметь.

И вот вожжи в моих руках. Я держу их на вытянутых руках.

Крепко держась за телегу, Леля говорит:

— Ну, теперь будет история — он нас непременно опрокинет.

В этот момент телега подпрыгивает на кочке.

Леля вскрикивает:

— Ну, ясно. Сейчас она нас перевернет.

Я тоже подозреваю, что телега опрокинется, поскольку вожжи в моих неумелых руках. Но нет, подскочив на кочке, телега ровно катится дальше.

Гордясь своим успехом, я похлопываю лошадь вожжами по бокам и покрикиваю: «Ну, заснула!»

Вдруг я вижу — поворот дороги.

Торопливо я спрашиваю Васютку:

— За какую вожжу тянуть, чтоб лошадь побежала направо?

Васютка спокойно говорит:

— Потяни за правую.

— Сколько раз потянуть за правую? — спрашиваю я.

Васютка пожимает плечами:

— Один раз.

Я дергаю за правую вожжу, и вдруг, как в сказке, лошадь бежит направо.

Но я почему-то огорчен, раздосадован. Так просто. Я думал, гораздо трудней править лошадью. Я думал, тут целая наука, которую нужно изучать годами. А тут такая чепуха.

Я передаю вожжи Васютке. Не особенно интересно.

Страшный мир

Горит дом. Пламя весело перебегает со стен на крышу.

Теперь горит крыша, обитая дранкой.

Пожарные качают воду. Один из них, схатив кишку, поливает дом. Вода тоненькой струйкой падает на огонь.

Нет, не затушить пожарному это пламя.

Мать держит меня за руку. Она боится, что я побегу к огню. Это опасно. Летят искры. Они осыпают толпу.

В толпе кто-то плачет. Это плачет толстый человек с бородой. Он плачет, как маленький. И трет свои глаза рукой. Может быть, искра попала ему в глаз?

Я спрашиваю маму:

— Чего он плачет? В него попала искра?

Мать говорит:

— Нет, он плачет оттого, что горит его дом.

— Он построит себе новый дом, — говорю я. — Вот уж из-за этого я бы не стал плакать.

— Чтоб построить новый дом, нужны деньги, — говорит мать.

— Пусть он заработает.

— На эти деньги не построишь дом.

— А как же тогда строятся дома?

Мама тихо говорит:

— Не знаю, может быть, люди крадут деньги.

Что-то новое входит в мои понятия. Я с интересом гляжу на бородатого человека, который украл деньги, построил дом, и вот он теперь горит.

— Значит, надо красть деньги? — спрашиваю я мать.

— Нет, красть нельзя. За это сажают в тюрьму.

Тогда совсем непонятно.

Я спрашиваю:

— А как же тогда?

Но мать с досадой машет рукой, чтоб я замолчал.

Я молчу. Я вырасту большой и тогда сам узнаю, что делается в этом мире. Должно быть, взрослые в чем-нибудь тут запутались и теперь не хотят об этом рассказывать детям.

Кто-то утонул

Я мастерю пароходик. Это дощечка с трубой и мачтой. Остается сделать руль и флаг.

Размахивая шляпой, бежит Леля. Она кричит:

— Минька, скорей! Бежим. Там кто-то утонул.

Я бегу за Лелей. На ходу кричу ей:

— Я не хочу бежать. Я боюсь.

Леля говорит:

— Так не ты же утонул. Это кто-то утонул. Чего ж тебе бояться?

Мы бежим по берегу. Там у пристани толпа.

Расталкивая людей, Леля пробивается сквозь толпу. Я протискиваюсь за ней.

Кто-то говорит:

— Он не умел плавать. Течение быстрое. Вот он и утонул.

На песчаном берегу лежит юноша. Ему лет восемнадцать. Он белый, как бумага. Глаза у него закрыты. Руки раскинуты в стороны, а тело его прикрыто зелеными веточками.

Рядом с ним на коленях стоит женщина. Она пристально смотрит в его мертвое лицо. Кто-то говорит:

— Это его мать. Она не плачет от очень большого горя.

Искоса я поглядываю на утопленника. Мне хочется, чтоб он задвигался, встал и сказал:

— Нет, я не потонул. Это я так. Нарочно. Пошутил.

Но он лежит неподвижно. И мне делается так страшно, что я закрываю глаза.

Я не виноват

Сидим за столом и кушаем блины.

Вдруг отец берет мою тарелку и начинает кушать мои блины. Я реву.

Отец в очках. У него серьезный вид. Борода. Тем не менее он смеется. Он говорит:

— Видите, какой он жадный. Ему для отца жаль одного блина.

Я говорю:

— Один блин, пожалуйста, кушай. Я думал, что ты все скушаешь.

Приносят суп.

Я говорю:

— Папа, хочешь мой суп?

Папа говорит:

— Нет, я подожду, когда принесут сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик.

Думая, что на сладкое клюквенный кисель с молоком, я говорю:

— Пожалуйста. Можешь кушать мое сладкое.

Вдруг приносят крем, к которому я неравнодушен.

Пододвинув к отцу мое блюдце с кремом, я говорю:

— Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный.

Отец хмурится и уходит из-за стола.

Мать говорит:

— Пойди к отцу, попроси прощения.

Я говорю:

— Не пойду. Я не виноват.

Я выхожу из-за стола, не дотронувшись до сладкого.

Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдце с кремом.

Отец говорит:

— Ну, что ж ты не съел свой крем?

Я говорю:

— Папа, давай съедим пополам. Что нам из-за этого ссориться?

Отец целует меня и с ложечки кормит кремом.

В воде

Мальчишки плавают и ныряют. Я копаюсь на берегу.

Мне кричат:

— Ну, давай. Смелей иди. Научим плавать.

Я медленно иду по воде. Холодно. Мурашки ползут по моей коже.

— Сразу окунайся, балда, семь раз! — кричат мальчишки.

Я окунаюсь до плеч. Мальчишки кричат:

— С головой окунайся, недотепа.

Нет, с головой я не решаюсь окунуться. Вода попадает в глаза и в уши. Это неприятно.

— Давай сюда! Не трусь! — кричат мальчишки.

Хоть там глубоко, но я иду вперед. Я не хочу быть трусом.

Я иду вперед и вдруг проваливаюсь в яму. Зеленая вода покрывает меня с головой. Неужели я потонул.

Но нет. Я выплываю наверх. И, барахтаясь как собачонка, плыву.

Браво. Кажется, я сам научился плавать.

Вдруг кто-то или что-то хватает меня за ногу. Я вскрикиваю и сразу иду на дно.

Вот теперь я окончательно потонул. Я закрываю глаза.

Мальчишки выволакивают меня наверх. Один из них говорит:

— Я его за ногу потянул, пошутил. А уж он готов, преставился.

Другой говорит:

— Зря так скоро мы его вытащили. Пущай бы подольше полежал. Откачали бы.

Я лежу на берегу и выплевываю воду.

Вокруг меня беснуются мальчишки. Им досадно, что я мало наглотался воды.

Закрывайте двери

Вечер. Мы пьем молоко. И ложимся спать.

Я подхожу к окну. За окном темно. Так темно, что даже не видно клумбу с цветами.

Я всматриваюсь в окно.

В комнате веселятся мои сестры. Они хохочут и бросаются подушками. Одна из подушек летит в меня. Я сердито отбрасываю ее в сторону. Совершенно неподходящее время для таких шуток.

Желая мне досадить, Леля говорит:

— Сегодня непременно придут воры. Так и знай.

Положим, если закрыть двери, они не придут.

Я кричу взрослым, которые сидят на балконе:

— Не забудьте закрыть двери!

Мама появляется в дверях.

— Что случилось? — спрашивает она.

— Нет, ничего не случилось, — говорю я, — но Леля думает, что сегодня придут воры.

Мама целует нас и, улыбаясь, уходит.

Я лежу, закрывшись с головой одеялом.

В доме уже тихо. Все спят. Но мне не спится.

Двери, конечно, закрыты. Я сам слышал, как щелкнул крючок, но закрыты ли окна?

Я встаю с постели. Подхожу к окну. Пробую крючок. Закрыто. Может быть, в той комнате забыли закрыть окно?

Осторожно ступая, я иду в соседнюю комнату. Ощупью нахожу крючок на окне. Вдруг что-то со звоном и треском падает на пол.

Я слышу испуганный голос мамы:

— Что! Кто там?.. Воры!

— Где, где воры? — кричу я матери.

В доме переполох. Все прибегают. Зажигают лампу.

На полу лежит разбитая банка с цветами.

Мать успокаивает меня.

И я снова ложусь в постель, закрываюсь с головой одеялом.

У бабушки

Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом. Подают обед.

Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный. Он похож на льва. А бабушка похожа на львицу.

Лев и львица сидят за столом.

Я, не отрываясь, смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы. И темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенная красавица.

Приносят миску с супом.

Это неинтересно. Это я вряд ли буду кушать.

Но вот приносят пирожки. Это еще ничего.

Сам дедушка разливает суп.

Подавая свою тарелку, я говорю дедушке:

— Мне только одну капельку.

Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку.

Я смущенно смотрю на эту каплю.

Все смеются.

Дедушка говорит:

— Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу.

Я не хотел супа, но почему-то мне обидно. Я почти плачу.

Бабушка говорит:

— Дедушка пошутил. Дай твою тарелку, я налью.

Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков.

Дедушка говорит моей маме:

— Это плохой ребенок. Он не понимает шуток.

Мама говорит мне:

— Ну, улыбнись же дедушке. Ответь ему что-нибудь.

Я сердито смотрю на дедушку. Тихо говорю ему:

— Я больше к вам никогда не приеду.

Я пришел к бабушке в гости, только когда дедушка умер. Это был неродной дедушка. И я не жалел, что он умер.

Мама плачет

Мама лежит на диване и плачет. Я подхожу к ней. Мама протягивает мне цветную открытку. На открытке какая-то красивая дама в боа и в шляпе.

Мама спрашивает:

— Правда, я похожа на эту даму?

Желая утешить маму, я говорю:

— Да, немножко похожа.

Хотя я и не вижу особенного сходства.

Мама говорит:

— В таком случае пойди к папе, покажи ему эту открытку и скажи: «Папа, погляди, как похожа на нашу маму».

Угрюмо я спрашиваю:

— Для чего?

— Так нужно. Я не могу тебе объяснить, для чего. Ты слишком мал.

Я говорю:

— Нет, ты все-таки скажи. Так я не пойду.

Мама говорит:

— Ну как тебе объяснить... Папа посмотрит на эту открытку и скажет: «Ах, какая у нас интересная мама...». И будет относиться ко мне добрей...

Это объяснение не вносит ясности в мою голову. Наоборот, мне кажется, что папа увидит несходство и еще больше рассердится на маму.

С большой неохотой я иду в комнату, где работает папа.

Папа художник. Перед ним мольберт. Папа пишет портрет моей сестры Юли.

Я подхожу к отцу и, протянув открытку, угрюмо говорю:

— Кажется, немножко похожа на мать. Нет?

Искоса взглянув на открытку, отец говорит:

— Не мешай мне. Иди...

Ну, конечно. Ничего не вышло. Я так и знал.

Я возвращаюсь к матери.

— Ну, что он сказал?

Я говорю:

— Он сказал: «Не мешай мне, иди...».

Закрыв лицо руками, мама плачет.

Мое сердце разрывается от жалости. Я даже согласен вторично итти к отцу с этой дурацкой открыткой, но мать не разрешает мне этого.

Мама нашла билеты

Мама в гневе ударяет по столу кулаком. Говорит бабушке:

— Значит, когда мы были на даче, он тут веселился... Вот эти билеты, которые я нашла в кармане его летнего пальто.

Я знаю это летнее папино пальто. Оно висит на вешалке. Совершенно светлое, коротенькое пальто.

Мама кладет на стол какие-то билеты.

Я сгораю от любопытства — так мне хочется узнать, что это за билеты.

Я подхожу к столу и рассматриваю билеты, читаю: «Театр Буфф».

Бабушка говорит:

— Может быть, он был в «Буффе» со своим приятелем. Почем мы знаем?

Мама говорит:

— Нет, билеты в первом ряду. Я знаю, с кем он был. Он был с Анной. Я давно подозревала, что она сходит с ума...

Вдруг открывается дверь, и входит папа.

Папа в черном осеннем пальто. В шляпе. Он очень высокий, красивый. И даже борода не портит его.

Улыбаясь, папа говорит маме:

— Мне нужно с тобой поговорить.

Они оба уходят в гостиную.

Леля подходит к двери. Прислушивается. Потом говорит:

— Нет, все хорошо. Ничего плохого не будет. Ручаюсь...

Я спрашиваю Лелю:

— А что у них произошло?

Леля говорит:

— Все женщины сходят с ума от нашего папы. Это чересчур расстраивает маму.

Вскоре из гостиной выходят наши родители.

Я вижу, мама не особенно довольна, но все же ничего.

Папа на прощанье целует мамину руку. И уходит ночевать в свою мастерскую. Это через три дома от нас.

В мастерской

Папа давно у нас не был. Мать одевает меня. И мы идем к отцу в мастерскую.

Мама идет торопливо. Тянет меня за руку, так что я едва поспеваю.

Мы поднимаемся в седьмой этаж. Стучим. Дверь открывает папа.

Увидав нас, он сначала хмурится. Потом, взяв меня на руки, подкидывает чуть не под потолок. Смеется и целует меня.

Мама улыбается. Она садится рядом с папой на диван. И у них начинается какой-то таинственный разговор.

Я хожу по мастерской. На мольбертах картины. На стенах тоже картины. Огромные окна. Беспорядок.

Я осматриваю ящики с красками. Кисти. Всякие бутылочки.

Уже все осмотрено, но родители еще беседуют. Очень приятно, что они так тихо беседуют — без криков, не ссорятся.

Я не мешаю им. Я вторично обхожу ящики и картины.

Наконец, отец говорит матери:

— Ну, очень рад. Все хорошо.

Он на прощание целует маму. И мама целует его. И даже они обнимаются.

Одевшись, мы уходим.

По дороге мама вдруг начинает бранить меня. Она говорит:

— Ах, зачем ты увязался со мной...

Мне странно слышать это. Я вовсе не увязывался. Она сама потянула меня в мастерскую. И вот теперь недовольна.

Мама говорит:

— Ах, как я жалею, что взяла тебя с собой. Без тебя мы бы окончательно помирились.

Я хнычу. Но я хнычу оттого, что не понимаю, в чем я виноват. Я вел себя тихо. Даже не бегал по мастерской. И вот такая несправедливость.

Мать говорит:

— Нет, больше я тебя никогда с собой не возьму.

Мне хочется спросить, в чем дело, что произошло. Но я молчу. Я вырасту большой и тогда все сам узнаю. Узнаю, почему бывают виноваты люди, если они решительно ни в чем не виноваты.

У калитки

Я стою в саду у калитки. Пристально смотрю на дорогу, которая ведет к пристани.

Мама уехала в город. И вот с утра ее нет. А мы уже пообедали. И скоро вечер. Ах, Боже мой, где же она?

Я снова всматриваюсь в даль. Нет! Идут какие-то люди, а ее нет. Наверное, что-нибудь с ней случилось.

Но что могло с ней случиться? Ведь она же не маленький ребенок. Взрослый человек. Ей тридцать лет.

Ну, и что из того? И со взрослыми случаются всякие ужасы. Взрослых тоже на каждом шагу подстерегают опасности.

Может быть, мама ехала на извозчике. Понесла лошадь. Правда, у извозчиков лошади тихие. Еле плетутся. Сомнительно, что такие лошади могут понести. А если и понесут, то всегда можно выскочить из пролетки.

Но вот если мама поехала на пароходе, то с парохода не выскочишь, если он тонет. Конечно, имеются круги. Можно схватить такой круг и спастись. Зато такие круги ни к чему, если пожар, если, например, загорелась наша городская квар-

тира. Хотя, впрочем, дом у нас каменный и вряд ли он может вспыхнуть, как спичка.

Скорей всего мама зашла в кафе, там что-нибудь скушала и заболела. И вот теперь ей доктор делает операцию.

Ах, нет! Вот идет наша мама!

С криком я бегу к ней навстречу. Мама в огромной шляпе. На плечах у нее белое боа из перьев. И бант на поясе. Мне не нравится, что мама так одевается. Вот уж ни за какие блага в мире я не надел бы эти перья. Я вырасту большой и попрошу маму, чтоб она так не одевалась. А то мне неловко с ней идти — все оборачиваются.

— Ты, кажется, не рад, что я приехала? — спрашивает мама.

— Нет, я рад, — равнодушно говорю я.

Это недоразумение

Рядом со мной за партой сидит гимназист Костя Палицын.

Перочинным ножом он вырезает на парте какую-то букву. Я смотрю, как ловко и незаметно для учителя он режет ножом.

Я так углубился в это дело, что не слышу, когда вызывают меня.

Кто-то толкает меня под бок. И тогда я встаю и растерянно смотрю на классного наставника, который преподает русский и арифметику в нашем приготовительном классе.

Оказывается, учитель почему-то хочет, чтоб я прочитал ему стихотворение: «Весело сияет месяц над селом».

Первую строчку я бойко произношу, так как я ее только что услышал от учителя. Но что дальше, я не знаю. Я просто не знаю этого стихотворения и даже в первый раз слышу о нем.

Со всех сторон мне подсказывают: «Белый снег сверкает».

Запинаясь, я произношу, что подсказывают.

Посматривая на меня, учитель улыбается.

Ученики наперерыв подсказывают мне. Они шепчут со всех сторон. От этого даже не разобрать, что они шеп-

чут — «Крест под облаками, как свеча, горит...».

— Треск под сапогами, — бормочу я.

В классе хохот. Учитель тоже смеется. И ставит в мой дневник единицу.

Это неприятно. Я всего пять дней в гимназии. И вдруг сразу единица.

Я говорю Косте Палицыну:

— Если будут ставить единицы за все, что я еще не знаю, то я много нахватаю единиц.

— Это стихотворение было задано, — говорит Костя. — Его надо было выучить.

Ах, оно было задано? Я не знал. В таком случае, это недоразумение.

Мне становится легче на душе, что это недоразумение.

Снова неприятности

На мне серое гимназическое пальто с серебряными пуговицами. За спиной ранец.

В карман моего пальто мама сует записку с адресом гимназии.

— Мама, — говорю я, — ты не беспокойся. Я так хорошо знаю дорогу, что могу с закрытыми глазами дойти до гимназии.

Мама говорит:

— Только ты и в самом деле не вздумай идти с закрытыми глазами. С тебя хватит..

Я выхожу на улицу.

Нет, конечно, с закрытыми глазами я не найду. Это опасно. На улицах конки, извозчики. Но от угла Большого до гимназии я непременно пойду с закрытыми глазами. Всего двести десять шагов. Это сущие пустяки.

Дойдя до Большого проспекта, я закрываю глаза и, как слепой, иду, тычась на людей и задевая стены и тумбы. При этом мысленно считаю шаги... Двести. Двести десять...

Произнеся вслух: «Двести десять» — я с силой наталкиваюсь на какого-то человека. Открываю глаза. Стою как раз у дверей гимназии. А человек, которого я толкнул, — это наш учитель и классный наставник.

— Ах, извините, — говорю я. — Я вас не заметил.

— Надо замечать, — сердито говорит учитель. — Для этого у тебя есть глаза.

— Они были закрыты, — говорю я.

— Зачем же ты глаза закрываешь, глупый мальчишка? — говорит учитель.

Я молчу. — Во-первых, это долго объяснять, во-вторых, он, пожалуй, не поймет, почему я закрыл глаза.

— Ну? — спрашивает учитель.

— Просто так закрыл. От ветра...

Учитель хмуро смотрит на меня и сердито говорит:

— Ну, что ж ты стоишь, как пень? Иди...

Я стою оттого, что я вежливый человек.

Я хочу пропустить его вперед.

Мы одновременно шагаем к двери и в дверях снова сталкиваемся.

Еще более сердито учитель смотрит на меня.

Пуд железа

Я занят разборкой моего пенала. Перебираю карандаши и перья. Любуюсь моим маленьким перочинным ножиком.

Учитель вызывает меня. Он говорит:

— Ответь, только быстро: что тяжелей — пуд пуха или пуд железа?

Не видя в этом подвоха, я, не подумав, отвечаю:

— Пуд железа.

Кругом хохот.

Учитель говорит:

— Скажи своей маме, чтоб она завтра зашла ко мне. Я хочу с ней поговорить.

На другой день мама идет к учителю и грустная возвращается домой. Она говорит:

— Учитель недоволен тобой. Он говорит, что ты рассеянный, ничего не слушаешь, не понимаешь и сидишь за партой, как будто тебя не касается, что происходит в классе.

— А что он еще сказал?

Лицо у мамы делается совсем грустным.

Прижав меня к себе, она говорит:

— Я тебя считала умным и развитым мальчиком, а он говорит, что у тебя еще недостаточное умственное развитие.

— Это он глупости говорит, — сердито кричу я. — По-моему, у него недостаточное умственное развитие. Он задает ученикам глупые вопросы. А на глупые вопросы трудней ответить, чем на умные.

Целуя меня, мама плачет.

— Ах, тебе будет трудно жить на свете! — говорит она.

Почему?

— Ты трудный ребенок. Ты похож на отца. Я не верю, что ты будешь счастливый.

Мама снова целует и обнимает меня, но я вырываюсь. Я не люблю это лизанье и слезы.

Закрытое сердце

Приехал дедушка. Это отец отца. Он приехал из Полтавы.

Я думал, что приедет дряхлый старичок с длинными усами и в украинской рубашке. И будет петь, плясать и рассказывать нам сказки.

Наоборот. Приехал строгий, высокий человек. Не очень старый, не очень седой. Поразительно красивый. Бритый. В черном сюртуке. И в руках у него был маленький бархатный молитвенник и красные костяные четки.

И я удивился, что у нас такой дедушка. И захотел с ним о чем-нибудь поговорить. Но с нами, с детьми, он не стал разговаривать. Он только немного поговорил с папой. А маме сердито сказал:

— Сами виноваты, сударыня. Слишком много народили детей.

И тогда мама заплакала и ушла в свою комнату.

И я еще больше удивился, что у нас такой дедушка, который недоволен тем, что у мамы родились дети, среди которых был я.

И мне непременно захотелось узнать, что делает дедушка в своей комнате, из которой он почти не выходит и никому не позволяет входить в нее. Наверно, он там делает что-нибудь исключительно важное.

И вот я приоткрываю дверь и тихо вхожу в комнату.

Строгий дедушка ничего не делает. Он сидит в кресле и просто ничего не делает. Неподвижно смотрит на стену и курит длинную трубку.

Увидев меня, дедушка спросил:

— Что тебе здесь нужно? И зачем ты вошел ко мне не постучавшись?

И тогда я рассердился на моего дедушку и сказал ему:

— В конце концов это наша квартира, если хотите знать — это моя комната, а меня переселили к сестрам. Зачем я буду стучать в свою комнату?

Дедушка бросил в меня свои четки и закричал. Потом он пошел и пожаловался моему отцу. А отец пожаловался матери.

Но мама не стала меня бранить. Она сказала:

— Ах, скорей бы он уехал. Он никого не любит. Он вроде твоего отца. У него закрытое сердце.

— А у меня тоже закрытое сердце? — спрашиваю я.

— Да, — говорит мать, — по-моему, и у тебя закрытое сердце.

— Значит, я буду такой же, как дедушка?

Целуя меня, мать сквозь слезы говорит:

— Да, наверно, и ты будешь такой же. Это большое несчастье — никого не любить.

Нельзя кричать

На улицах беспорядки. Побили городового на углу. Жандармы скачут на лошадях. Что-то происходит необычайное.

В нашей гимназии тоже творится что-то странное. Старшие ученики собираются в группы и о чем-то тихо беседуют. И малыши шалят больше обыкновенного.

Перемена. Мы бегаем по залу. Второклассники бегают с криком: «Бунтуйся». Я тоже присоединяюсь к ним и, размахивая рукой, кричу: «Бунтуйся».

Кто-то хватает меня за руку. Это классный наставник.

Он трясет меня за плечи и говорит:

— Повтори, что ты сказал.

— Я сказал «бунтуйся», — бормочу я.

Лицо у учителя делается каменным. Он говорит:

— Встань к стене под часами и стой до конца перемены. А завтра пусть мама зайдет ко мне.

Я стою под часами. Новое дело. Что случилось? Почему это нельзя кричать? Все кричали. А он, как коршун, налетел на меня и схватил за плечи.

На другой день мама возвращается от учителя встревоженной. Она идет к отцу и с ним долго беседует.

Потом родители зовут меня в свою комнату.

Отец лежит на кровати в брюках и в пиджаке. Вид у него скучный, хмурый. Он говорит мне:

— Наверное, ты не знал, что означает это слово?

Я говорю:

— Нет, я знал. Оно от слова «бунт». Но я не знал, что его нельзя кричать.

Отец улыбается. Говорит матери:

— Поди к учителю и скажи ему, что наш сын дурачок, недостаточно развитой... А то его посадят в тюрьму.

Услышав про тюрьму, я начинаю плакать.

Мама говорит:

— Раньше я об этом спорила с учителем. Но теперь я пойду скажу ему, что он прав.

Папа смеется.

— Вот видите, — говорит он, — это плохое мнение пригодилось.

Папа отворачивается к стене и больше не хочет разговаривать.

Мы с мамой выходим из комнаты.

Разрыв сердца

Тихо отворяю дверь и вхожу в папину комнату.

Обычно отец валяется на кровати. Но сегодня он неподвижно стоит у окна.

Высокий, угрюмый, он стоит у окна и о чем-то думает.

Он похож на Петра Великого. Только с бородой.

Тихо я говорю:

— Папа, я возьму твой ножичек очинить карандаш.

Не оборачиваясь, отец говорит:

— Возьми.

Я подхожу к письменному столу и начинаю чинить карандаш.

В углу у окна круглый столик. На нем графин с водой.

Отец наливает стакан воды. Пьет. И вдруг падает.

Он падает на пол. И падает стул, за который он задел.

От ужаса я кричу. Прибегают сестры, мать.

Увидев отца на полу, мать с криком бросается к нему. Теребит его за плечи, целует его лицо.

Я выбегаю из комнаты и ложусь на свою кровать.

Произошло что-то ужасное. Но, может быть, все кончится хорошо. Может быть, у папы — обморок.

Я снова иду в комнату отца.

Отец лежит на кровати. Мать у дверей. Рядом с ней доктор.

Мать кричит:

— Вы ошиблись, доктор!

Доктор говорит:

— В этом вопросе мы не смеем ошибаться, сударыня. Он умер.

— Почему же так сразу? Не может быть!

— Это разрыв сердца, — говорит врач. И уходит из комнаты.

Лежа на своей кровати, я плачу.

Да, он умер

Ах, как невыносимо смотреть на маму! Она все время плачет.

Вот она стоит у стола, на котором лежит мой отец. Она упала лицом на его лицо и плачет.

Я стою у двери и смотрю на это ужасное горе. Нет, я бы не мог так плакать. Наверное, у меня — закрытое сердце.

Мне хочется утешить мать, отвлечь ее. Я тихо спрашиваю ее:

— Мама, сколько лет нашему папе?

Вытирая слезы, мама говорит:

— Ах, Мишенька, он совсем молодой. Ему сорок девять. Нет, не может быть, чтобы он умер!

Она снова теребит за плечи отца и бормочет:

— Может быть, это глубокий обморок, летаргический сон...

Мать отстегивает булавку от своей блузки. Потом берет руку отца. И я вижу — она хочет булавкой проколоть ему руку.

Я вскрикиваю от ужаса.

— Не надо кричать, — говорит мать, — я хочу посмотреть, может быть, он не умер.

Булавкой она прокалывает руку насквозь. Я снова кричу. Мать вынимает булавку из проколотой ладони.

— Погляди, — говорит она, — нет ни капельки крови. Да, он умер...

Упав на грудь отца, мама снова плачет.

Я выхожу из комнаты. Меня трясет лихорадка.

На кладбище

Я первый раз на кладбище. Ничуть не страшно. Только очень неприятно.

Настолько неприятно, что я еле стою в церкви. Скорей бы кончилось отпевание. Я стараюсь не смотреть на покойников, которые лежат на шести катафалках. Но мои глаза невольно останавливаются на них.

Они лежат бледные, неподвижные, как восковые куклы. Две старухи в чепцах. Отец. Еще чей-то отец. Молодая мертвая девушка. И какой-то пузатый, толстый человек. Такой пузатый, что вряд ли закроется гроб при таком брюхе. Впрочем, прижмут крышкой. Церемониться не будут. Все равно он теперь ничего не чувствует, не видит.

Не знаю, смогу ли я подойти к отцу, поцеловать его. Вот уже все подходят, целуют.

Затаив дыхание, я подхожу. Чуть касаюсь губами его мертвой руки. Выбегаю из церкви.

Гроб несут на руках художники — папины товарищи. Впереди на маленькой бархатной подушке несут орден, который папа получил за свою картину «Отъезд Суворова».

Эта картина на стене Суворовского музея. Она сделана из мозаики. В левом углу картины имеется зеленая елочка. Нижнюю ветку этой елочки делал я. Она получилась кривая, но папа был доволен моей работой.

Поют певчие. Гроб опускают в яму. Мама кричит.

Яму засыпают. Все кончено. Закрытое сердце больше не существует. Но существую я.

Дни сочтены

Мамин брат заболел чахоткой. Ему сняли комнату за городом. И он стал там жить.

Но доктор сказал маме:

— Он очень плох. Его дни сочтены.

Я поехал к нему в воскресенье. Повез пирожки и сметану.

Дядя Георгий лежал на кровати обложенный подушками. Он тяжело и с хрипом дышал.

Я положил на стул то, что привез, и хотел уйти. Но он сказал мне:

— Я целые дни один. Мне ужасно скучно. Давай хоть с тобой сыграем в карты.

Из-под подушки дядя Георгий вынул карты. И мы стали играть в шестьдесят шесть.

Мне страшно везло. А ему нет. Он проиграл мне две партии. И потребовал, чтоб я сыграл с ним третью.

Мы начали играть третью партию. Но ему не везло еще больше. И тогда он стал на меня сердиться. Стал кричать и бросать карты. Он огорчался, что проигрывает, хотя мы играли не на деньги, а так.

И я удивился, что он огорчается, если дни его сочтены и он скоро умрет.

Вот он сдал мне карты. И почти все они были козырные. И, увидев это, дядя затрясся от гнева, закашлялся. Начал стонать. И ему стало так нехорошо, что он схватил кислородную подушку и приложил ее к своему рту. Ему было душно. Он боялся задохнуться.

Потом, когда ему стало лучше, мы продолжали игру.

Но я нарочно стал сбрасывать хорошие карты. Ходил

не так, как надо. Я хотел ему проиграть, чтоб он не мучился.

И тогда я стал проигрывать. И от этого дядя развеселился настолько, что стал шутить и смеяться. И он хлопнул меня картами по лбу, сказав, что я еще слишком мал, чтоб играть со взрослыми.

Четвертую партию я не стал с ним играть, хотя он очень этого хотел.

Я ушел с тем, чтоб к нему больше не приходить.

И мне не пришлось больше у него бывать. Он в следующее воскресенье умер.

Муза

Я в гостях. Сижу на диване. Девочка по имени Муза показывает мне свои книги.

Показывая книги, она вдруг спрашивает меня:

— Вы хотите быть моим женихом?

— Да, — тихо отвечаю я. — Только я меньше вас ростом. Не знаю, могут ли быть такие женихи.

Мы подходим к трюмо, чтоб увидеть разницу в нашем росте.

Мы ровесники. Нам по одиннадцати лет и три месяца. Но Муза выше меня почти на полголовы.

— Это ничего, — говорит она. — Бывают женихи совершенно маленького роста и даже горбатые. Главное, чтоб они были сильные. Давайте поборемся. И я уверена, что вы сильней меня.

Мы начинаем бороться. Муза сильней меня. С ловкостью кошки я ускользаю от поражения. И мы снова боремся. Падаем на ковер. И некоторое время лежим ошеломленные чем-то непонятным.

Потом Муза говорит:

— Да, я сильнее вас. Но это ничего. Среди женихов бывают слабенькие и даже больные. Главное, чтоб они были умные. Сколько у вас пятерок в первой четверти?

Боже мой, какой неудачный вопрос! Если мерить ум на отметки, тогда дела мои совсем плохи. Три двойки. Остальные тройки.

— Ну, ничего, — говорит Муза. — Вы в дальнейшем

поумнеете. Наверно, бывают такие женихи, у которых по четыре двойки и больше.

— Не знаю, — говорю я, — вряд ли.

Взявшись под-руку, мы ходим по гостиной. Взрослые зовут нас в столовую чай пить.

Обняв меня за шею, Муза целует меня в щеку.

— Зачем вы это сделали? — говорю я, ужасаясь ее поступку.

— Поцелуи скрепляют договор, — говорит она. — Теперь мы жених и невеста.

Мы идем в столовую.

Учитель истории

Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя.

Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтоб этого не было.

Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично. Но в уроке есть слово «банкет».

— А что такое банкет? — спрашивает меня учитель.

Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом, в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?

Я молчу.

— А-а? — спрашивает учитель привизгивая. И в этом «а-а» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне.

И услышав это «а», ученики тоже начинают визжать.

Учитель истории машет на меня рукой. И ставит мне двойку.

По окончании урока я бегу за учителем. Я догоняю его на лестнице. От волнения я не могу произнести слова. Меня бьет лихорадка.

Увидев меня в таком виде, учитель говорит:

— В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем тройку.

— Я не об этом, — говорю я. — Если вы меня еще раз так вызовете, то я... я...

— Что? Что такое? — говорит учитель.

— Плюну в вас, — бормочу я.

— Что ты сказал? — грозно кричит учитель. И, схватив меня за руку, тянет наверх в директорскую. Но вдруг отпускает меня. Говорит:

— Идите в класс.

Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит.

Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске.

Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им:

— Молчать!

В классе водворяется полная тишина. Я бормочу заданное, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы.

Учитель говорит:

— Не волнуйтесь. На тройку вы во всяком случае знаете.

Он подумал, что у меня слезы на глазах оттого, что я неважно знаю урок.

Хлорофилл

Только два предмета мне интересны — зоология и ботаника. Остальные нет.

Впрочем, история мне тоже интересна, но только не по той книге, по которой мы проходим.

Я очень огорчаюсь, что плохо учусь. Но не знаю, что нужно сделать, чтобы этого не было.

Даже по ботанике у меня тройка. А уж этот предмет я отлично знаю. Прочитал много книг и даже сделал гербарий — альбом, в котором наклеены листочки, цветы и травы.

Учитель ботаники что-то рассказывает в классе. Потом говорит:

— А почему листья зеленые? Кто знает?

В классе молчание.

— Я поставлю пятерку тому, кто знает, — говорит учитель.

Я знаю, почему листья зеленые, но молчу. Я не хочу быть выскочкой. Пусть отвечают первые ученики. Кроме того, я не нуждаюсь в пятерке. Что она одна будет торчать среди моих двоек и троек? Это комично.

Учитель вызывает первого ученика. Но тот не знает.

Тогда я небрежно поднимаю руку.

— Ах вот как, — говорит учитель, — вы знаете. Ну скажите.

— Листья зеленые, — говорю я, — оттого, что в них имеется красящее вещество хлорофилл.

Учитель говорит:

— Прежде чем вам поставить пятерку, я должен узнать, почему вы не подняли руку сразу.

Я молчу. На это очень трудно ответить.

— Может быть, вы не сразу вспомнили? — спрашивает учитель.

— Нет, я сразу вспомнил.

— Может быть, вы хотели быть выше первых учеников?

Я молчу. Укоризненно качая головой, учитель ставит пятерку.

Все кончено

Ветер такой сильный, что нельзя играть в крокет.

Мы сидим на траве за домом и беседуем.

Кроме моих сестер, на траве реалист Толя и его сестренка Ксеня.

Мои сестры подшучивают надо мной. Они считают, что я неравнодушен к Ксении — все время смотрю на нее и подставляю шары, когда играю в крокет.

Ксеня смеется. Она знает, что я действительно подставляю ей шары.

Уверенная в моем чувстве, она говорит:

— Могли бы вы для меня пойти ночью на кладбище и там сорвать какой-нибудь цветок?

— Зачем? — спрашиваю я.

— Просто так. Чтобы исполнить мою просьбу.

Я говорю тихо, так, чтобы не слышали сестры:

— Для вас я бы мог это сделать.

Вдруг мы видим — за забором бегут люди. Мы выходим из сада. Боже мой! Вода у шоссе. Уже Елагин остров в воде. Еще немного, и вода зальет дорогу, по которой мы идем.

Мы бежим к яхт-клубу. Ветер такой сильный, что мы чуть не падаем с ног.

Мы с Ксенией, взявшись за руки, бежим впереди.

Вдруг слышим мамин голос:

— Назад! Домой!

Мы оборачиваемся. Наш сад в воде. Это вода хлынула с поля и затопила все позади нас.

Я бегу к дому. Канавы полны водой. Плывут доски и бревна.

Мокрый по колено, я вбегаю на веранду.

А где же Ксения, сестры, Толя?

Сняв башмаки, они идут по саду.

На веранде Ксения мне говорит:

— Убежать первым... бросить нас... Ну, знаете ли... Все кончено между нами.

Молча я ухожу в свою комнату на второй этаж. В ужасной тоске ложусь на свою постель.

Выстрел

Утро. Мы сидим на веранде. Пьем чай.

Вдруг слышим ужасный крик. Потом выстрел. Мы вскакиваем.

На нашу веранду вбегает женщина. Это наша соседка Анна Петровна.

Она ужасно растрепана. Почти голая. На плечи наброшен халат. Она кричит:

— Спасите! Умоляю! Он убьет меня... Он убил Сергея Львовича...

Мама вплескивает руками.

— Это такой блондин, студент, который ходил к вам в гости?

Сказав «да», Анна Петровна падает на диван и бьется в истерике.

Я бегу к соседней даче, к их окну.

Я отпрянул от окна, когда заглянул в комнату. На кровати лежал убитый человек. И кровь стекала с простыни на пол. Но больше в комнате никого не было.

Тогда я побежал в их сад. И там увидел толпу людей. Эти люди держали за руки мужа Анны Петровны.

Он стоял смирно. Не вырывался. И ничего не говорил. Он молчал.

Пришел полицейский и хотел его увести. Но муж Анны Петровны сказал:

— Позовите мне мою жену. Я хочу с ней попрощаться.

И тогда я бросился в наш дом и сказал Анне Петровне:

— Анна Петровна, он хочет попрощаться с вами. Выйдите к нему. И не бойтесь. Там полицейский.

Анна Петровна сказала:

— Я не имею привычки прощаться с убийцами. Я не выйду к нему.

Я побежал в сад, чтобы сказать, что она не выйдет. Но мужа Анны Петровны уже увели.

Замечание

Я был на елке у знакомых. У моего товарища. Его родители очень богатые люди.

Все гости получили подарки, сюрпризы и всякие безделушки. Лично я получил две книги Майн-Рида и полубеговые коньки. Кроме того, сестра моего товарища Маргарита подарила мне альбом для марок, крошечный перламутровый ножик и золотое сердечко на цепочке для ношения на часах.

Поздно вечером гости стали расходиться.

Меня пошла провожать Маргарита со своей горничной.

И вот я иду с Маргаритой впереди, а горничная Аннушка идет сзади.

Мы весело болтаем и незаметно доходим до моего дома.

Прощаясь, Маргарита просит, чтоб завтра я ее встретил, когда она будет возвращаться из гимназии.

Я прощаюсь с Маргаритой и пожимаю ее руку. Потом прощаюсь с Аннушкой. Я тоже пожимаю ее руку.

Но когда я прощался с Аннушкой, Маргарита вспыхнула и пожала плечами.

На другой день я встречаю Маргариту. Она говорит:

— Вы, наверно, бывали только в демократических домах, где принято за руку прощаться с прислугой. У нас это не принято. Это шокинг.

Я никогда не задумывался об этих вещах. И теперь покраснел, смутился. И сразу не нашелся, что ответить. Потом сказал:

— Я не вижу ничего дурного в том, что попрощался с Аннушкой.

Маргарита сказала:

— Еще нехватало того, чтобы вы сначала попрощались с ней, потом со мной. Вы из дворянского дома и так поступаете.

Две улицы мы шли молча. Не разговаривали. Потом мне стало не по себе. Я снял свою гимназическую фуражку и попрощался с Маргаритой.

Она сказала мне, когда я уходил:

— Вы не должны сердиться на меня. Я старше вас на год. И я из хороших чувств к вам сделала замечание.

Мой друг

Каждый день я хожу к Саше П. Он умный мальчик. Мне с ним интересно. Мы с ним дружим. Он мой единственный друг.

Мама сказала, что я не способен с кем-нибудь дружить, что я по натуре одинокий человек, вроде моего отца.

Ничего подобного. Я скучаю, если хотя бы один день не вижу моего товарища. У меня просто потребность у него бывать.

Начистив ботинки, я спешу к нему. Его дача на берегу, через три улицы.

Я иду по набережной и тихо напеваю: «Невольно к этим грустным берегам...».

Вхожу в сад. Вся семья П. на веранде. Мама, он и две его сестренки — Оля и Галя. Оле четырнадцать, Гале шестнадцать лет. А мне пятнадцать.

Все рады, что я пришел. Саша говорит мне:

— Если хочешь сегодня, мы сходим на взморье. Пофилософствуем.

Девушки недовольны. Они хотели поиграть со мной в крокет, посидеть в саду.

Саша говорит:

— Часик поболтай с девчонками. А я пока дочитаю книгу.

Я иду с девушками в сад. Мы располагаемся в беседке. И говорим о всевозможных вещах.

Мне больше нравится Оля, но я больше нравлюсь Гале. Драматический узел. Все страшно интересно. Это — жизнь.

Мы долго сидим в беседке. Потом гуляем по саду. Потом сидим на берегу. И, наконец, снова располагаемся в беседке.

Уже темнеет. Я прощаюсь с сестрами. Галя что-то шепчет мне на ухо. Я не слышу. Но она не хочет повторить. Мы смеемся.

Наконец я окончательно прощаюсь и в прекрасном настроении спешу домой.

И вдруг по дороге вспоминаю, что я позабыл попрощаться с Сашей и позабыл о том, что мы собирались пойти с ним на взморье.

Мне страшно неловко. Я возвращаюсь к их даче. Подхожу к забору. У калитки стоит Саша.

Он говорит мне:

— Сегодня я окончательно понял, что ты приходишь не ко мне, а к моим сестрам.

Я горячусь, пробую доказывать, что хожу именно к нему. И вдруг сам убеждаюсь, что я не к нему хожу.

Он говорит:

— Наша дружба построена на песке. Я убежден в этом.

Мы холодно прощаемся.

Студент со стэком

Через два дома от нас жила девушка Ирина. Она была рыженькая, но настолько хорошенькая, что можно было часами ею любоваться.

Мы, мальчишки, часто подходили к ее забору и смотрели, как она лежит в гамаке.

Она почти все время лежала в гамаке. Но не читала. Книга валялась на траве, либо лежала на ее коленях.

А вечером Ирина уходила гулять с Олегом. Это такой студент. Путеец. Очень интересный. В пенсне. Со стэком в руках.

Когда он направлялся к ее дому, мы, мальчишки, кричали:

— Ириша, Олег идет!

Ира безумно краснела и бежала к нему навстречу.

Я не знаю, что именно у них произошло, но только в конце лета Ирина бросилась с пристани в воду и утонула. И ее не нашли.

Все дачники ужасно жалели ее. И некоторые даже плакали. Но этот студент Олег очень легко отнесся к ее смерти. Он попрежнему ходил на пристань со своим стэком. Смеялся. Шутил с товарищами. И даже стал ухаживать за одной курсисткой Симочкой.

И мы, мальчишки, были раздосадованы его поведением. Мы ненавидели от всей души этого студента со стэком.

Когда однажды он сидел на пристани, мы с берега стали стрелять в него из рогаток.

Он ужасно рассердился на нас. Закричал. Погнался за нами. Но когда он гнался за одним, другие в него стреляли.

Мы стреляли в него так, что он, наконец, побежал домой, закрыв голову руками.

Три дня мы обстреливали его дачу. Мы стреляли в каждого, кто выходил из его дома. Даже стреляли в его мамашу. И в кухарку. И в гостей. И в собаку. И даже в кошку, которая выходила погреться на солнышко.

Мы выбили несколько стекол на веранде. И довели его до того, что он вскоре уехал.

Он уехал с распухшим носом. Это кто-то из нас выстрелил в него из рогатки, когда он с вещами шел на пристань.

Первый урок

У меня — ученик. Это писарь Главного штаба. Я готовлю его к экзаменам.

Через два месяца он будет держать экзамен на первый классный чин.

У нас условие: если он выдержит экзамен, я получаю за это его велосипед.

Это великолепное условие. И я по три часа в день и больше сижу с этим оболдуем, который не очень-то смыслит в науках.

Все свои знания я стараюсь переложить в его туманные мозги. Я заставляю его писать, думать, считать. Я заканчиваю урок, только когда он начинает вякать, что у него болит голова.

И вот он прилично выдержал экзамен. И пришел ко мне сияющий.

Он с удивлением смотрел на меня, говоря, что он не ожидал, что так получится.

Мы с ним пошли на его квартиру.

И вот торжественный момент. Он выкатывает в коридор свой велосипед.

У меня помутилось в глазах, когда я увидел его машину. Она была ржавая, разбитая, с помятым рулем и без шин.

Слезы показались на моих глазах, но мне было совестно сказать, что я не согласен получить такую машину.

Давясь от смеха, писарь сказал:

— Ничего. Смажете керосинцем. Протрете. Купите шины. И будет приличная машина.

С превеликим трудом я докатил эту ржавчину до ремонтной мастерской. Махнув рукой, мастер сказал:

— Да что вы, в своем уме! Разве можно ее чинить!

За рубль я продал эту машину тряпичнику. И то он не хотел давать рубля. Он давал восемьдесят пять копеек. Но потом смягчился, увидев, что на ржавом руле есть звонок.

Даже теперь, когда прошло тридцать лет, я с отвращением вспоминаю этого писаря, его утиный нос, его желтые

зубы и сплюснутый череп, в который я втиснул некоторые знания.

Этот мой первый урок дал и мне некоторые знания о жизни.

Заключение

И вот воспоминания о моем детстве закончены.

Передо мной тридцать восемь историй, которые когда-то взволновали и потрясли меня.

Все эти истории я стал пересматривать и перетряхивать. Я надеялся найти в них источник моих страданий.

Однако ничего особенного я не увидел в этих историях.

Да, конечно, некоторые сцены весьма печальны. Но не более печальны, чем это обыкновенно бывает.

У каждого умирает отец. Каждый видит слезы матери.

У каждого случаются школьные огорчения. Обиды. Волнения. Обманы. И каждого страшит гроза, наводнения и бури.

Нет, ни в одной истории я не нашел несчастного происшествия, которое испортило мою жизнь, создало мне меланхолию и тоску.

Тогда я сложил все эти истории вместе. Я захотел увидеть общую картину моего детства, общий аккорд, который, быть может, оглушил меня, когда неверными детскими шагами я шел по узкой тропинке моей жизни.

Но и в общем этом аккорде я не увидел ничего особенного. Обыкновенное детство. Немного трудный ребенок. Нервный. Обидчивый. Весьма впечатлительный. Со взором, устремленным на то, что плохо, а не на то, что хорошо. Пожалуй, пугливый из-за этого. Но совсем не слабенький, а скорей даже сильный.

Нет, события детских лет не могли испортить мою дальнейшую жизнь.

Я снова был обескуражен. Непосильная задача — найти причину моей тоски. Убрать ее. Быть счастливым. Радостным. Восторженным. Таким, как должен быть обыкновенный человек с открытым сердцем. Только в сказке блудный сын возвращается в отчий дом!

Но, может быть, я ошибся? Может быть, вовсе и не

было этого несчастного происшествия, которое я ищу? Или, может быть, оно произошло еще в более раннем возрасте?

В самом деле, почему же я отбросил младенческие годы? Ведь первые впечатления бывают не в шесть и не в семь лет. Первое знакомство с миром происходит раньше. Первые понятия возникают в два и в три года. И даже, может быть, в год.

Тогда я стал думать; что же могло случиться в этом ничтожном возрасте?

Напрягая память, я стал вспоминать себя совсем крошечным ребенком. Но тут я убедился, что об этом я почти ничего не помню. Ничего цельного я не мог вызвать в своей памяти. Какие-то обрывки, куски, какие-то отдельные моменты, которые тонули в общей серой пелене.

Тогда я начал припоминать эти обрывки. И, припоминая их, я стал испытывать еще больший страх, чем тот, который я испытал, думая о своем детстве.

Значит, я на верном пути, — подумал я. — Значит, рана где-то совсем близка.

V. ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

То страшный мир какой-то был,

Без неба, света и светил.

Итак, я решил вспомнить мои младенческие годы, полагая, что несчастное происшествие случилось именно в этом возрасте.

Однако вспомнить эти годы оказалось нелегко. Они были овеяны каким-то тусклым туманом.

Напрягая память, я старался разорвать этот туман. Я старался припомнить себя трехлетним малышом, сидящим на высоком стуле или на коленях матери.

И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом.

Что же могло осветить эти сцены? Может быть, страх? Или душевное волнение ребенка? Да, вероятно страх и душевное волнение прорвали тусклую пелену, которой была обернута моя младенческая жизнь.

Но это были короткие моменты, это был мгновенный свет. И потом снова все тонуло в тумане.

И вот, припоминая эти мгновения, я увидел, что они относились к трем и четырем годам моей жизни. Некоторые же касались и двухлетнего возраста.

И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с двух до пяти лет.

С 2 до 5 лет

Что кажется нам сладким на язык,
То кислоту в желудке производит.

Открой рот

На одеяле — пустая коробка от спичек. Спички во рту. Кто-то кричит: «Открой рот!».

Открываю рот. Выплевываю спички.

Чьи-то пальцы лезут в мой рот. Вытаскивают еще некоторое количество спичек.

Кто-то плачет. Я плачу громче и оттого, что горько, и оттого, что отняли.

Туфельки едут

Маленькие лакированные туфельки. Блестящие маленькие туфельки неописуемой красоты. Они куда-то едут.

Эти туфельки на моих ногах. Ноги на сидении. Сидение синее. Должно быть, это пролетка извозчика.

Лакированные туфельки едут на изозчике.

Не отрываясь, я смотрю на эти туфельки.

И больше ничего не помню.

Сам

Блюдце с кашей. Ложка направляется в мой рот. Чья-то рука держит эту ложку.

Отнимаю эту ложку. Сам буду кушать.

Глотаю кашу. Горячо. Реву. Со злостью колочу ложкой по блюдцу. Брызги каши летят в лицо, в глаза.

Невероятный крик. Это я кричу.

Птица в руках

Один человек закрылся черным платком. Другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее.

Человек поднимает птицу. Зачем? Чтоб она улетела? Она не может улететь. Она неживая. Она на палке.

Кто-то говорит: готово.

Эта фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне два года и три месяца.

Заблудился

Мягкий полосатый диван. Над диваном круглое окошечко. За окошечком вода.

Я сползаю с дивана. Открываю дверь каюты. За дверью нет воды.

Иду по коридору. Возвращаюсь.

Где же наша дверь? Нет двери. Я заблудился. Кричу и плачу.

Мать открывает дверь. Говорит:

— Сиди тут. Никуда не уходи.

Петух

Двор. Солнце. Летают большие мухи.

Сижу на ступеньках крыльца. Что-то ем. Должно быть, булку.

Кусочки булки бросаю курам.

Ко мне подходит петух. Ворочая головкой, смотрит на меня.

Машу рукой, чтоб петух ушел. Но он не уходит. Приближается ко мне. И вдруг, подскочив, клюет мою булку.

С криком ужаса я убегаю.

Прогоните ее

На подоконнике цветы. Среди цветов лежит кошка. Она посматривает на меня.

А я посматриваю на кошку. И сам сижу на высоком стуле. И ем кашу.

Вдруг подходит большая собака. Она кладет лапы на стол.

Я отчаянно реву.

Кто-то кричит:

— Он боится собак. Прогоните ее!

Собаку прогоняют.

Посматривая на кошку, я ем кашу.

Это нарочно

Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня.

Вдруг идет нищий с мешком.

Кто-то говорит ему:

— А вот возьмите мальчика.

Нищий протягивает руку.

Ужасным голосом я кричу.

Кто-то говорит:

— Не отдам, не отдам. Это я нарочно.

Нищий уходит со своим мешком.

Дождь идет

Мать держит меня на руках. Бежит. Я прижимаюсь к ее груди.

Дождь барабанит по моей голове. Струйки воды текут за воротник. Реву.

Мать закрывает мою голову платком. Бежит быстрей.

Вот мы уже дома. В комнате.

Мать кладет меня на постель.

Вдруг сверкает молния. Гремит гром.

Я сползаю с кровати и так громко реву, что заглушаю гром.

Я боюсь

Мать держит меня на руках. Мы смотрим зверей, которые в клетках.

Вот огромный слон. Он хоботом берет французскую булку. Проглатывает ее.

Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки.

Вот огромный тигр. Зубами и когтями он разрывает мясо. Он кушает.

Я боюсь тигров. Плачу.

Мы уходим из сада.

Мы снова дома. Мама говорит отцу:

— Он боится зверей.

Умирает дядя Саша

Я сижу на высоком стуле. Пью молоко.

Попалась пенка. Плюю. Реву. Размазываю пенку по столу.

За дверью кто-то кричит страшным голосом.

Приходит мама. Она плачет. Целуя меня, она говорит:

— Умирает дядя Саша.

Размазав пенку по столу, я снова пью молоко.

И снова за дверью ужасный крик.

Ночью

Ночь. Темно. Я проснулся. Кричу.

Мать берет меня на руки.

Я кричу еще громче. Смотрю на стену. Стена коричневая. И на стене висит полотенце.

Мать успокаивает меня. Говорит:

— Ты боишься полотенца? Я уберу его.

Мать снимает полотенце, прячет его. Укладывает меня в постель. Я снова кричу.

И тогда мою маленькую кроватку ставят рядом с кроватью матери.

С плачем я засыпаю.

Заключение

И вот передо мной двенадцать историй крошечного ребенка.

Я внимательно пересмотрел эти истории, но ничего особенного в них не увидел.

Каждый ребенок сует в рот то, что подвернется под руку.

Почти каждый ребенок страшится зверей, собак. Плюет, когда попадает пенка. Обжигает рот. Кричит в темноте.

Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша.

Сложенные вместе, эти истории также не разъяснили мне загадки.

Показалось, что я зря припомнил всю эту детскую чушь. Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно.

Все эти сильные впечатления, должно быть, не являлись причиной несчастья. Но, может быть, они были следствием, а не причиной?

Может быть, несчастное происшествие случилось до двух лет? — неуверенно подумал я.

В самом деле. Ведь первые встречи с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в три и не в четыре года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца.

Должно быть, это была необычайная встреча, необычайное знакомство. Маленькое животное, не умеющее говорить, не умеющее думать, встретилось с жизнью. Именно тогда, а не позже и могло произойти несчастное происшествие.

Но как же мне его найти? Как мне проникнуть в этот мир, лишенный разума, лишенный логики, в этот мир, о котором я решительно ничего не помню?

ДО ДВУХ ЛЕТ

И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне...

1

Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось вызвать из забвения. Никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную, однообразную тень.

Серый плотный туман окутывал первые два года моей жизни. Он стоял передо мной, как дымовая завеса, и не позволял моему взору проникнуть в далекую таинственную жизнь маленького существа.

И я не понимал, как мне разорвать этот туман, чтобы увидеть драму, которая разыгралась на рассвете моей жизни, перед восходом солнца.

Что драма разыгралась именно тогда, я уже не имел сомнений. В поисках того, что не было, я бы не испытал такого безотчетного страха, который я стал испытывать, стараясь проникнуть туда, куда не разрешалось проходить людям, перешагнувшим младенческий возраст.

2

Я старался представить себя годовалым младенцем, с соской во рту, с побрякушкой в руках, с задранными кверху ножонками.

Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти.

И только однажды, после напряженного раздумья, в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения.

Вот складки какого-то одеяла. Какая-то рука из стены. Высокая колеблющаяся тень. Еще тень. И еще рука. Какая-то белая пена. И снова длинная колеблющаяся тень.

Но это были хаотические видения. Они напоминали сны. Они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроваткой. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались. Тени исчезали и за ними снова была — пустота, тьма, ничто... Как сказал поэт:

Все в мутную слилося тень,
То не было — ни ночь, ни день.
То было — тьма без темноты,
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ,
То были образы без лиц.
То страшный мир какой-то был
Без неба, света и светил.

Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума.

И мне не удалось проникнуть в этот мир.

Нет сомнения — это был иной мир, иная планета, с иными, необыкновенными законами, которые не контролируются разумом.

3

Как же, однако, живет маленькое существо в этом хаосе? — подумал я. — Чем оно защищается от опасностей, не имея разума, логики?

Или защиты нет, а все предоставлено случаю, заботам родителей?

Но ведь, даже имея родителей, небезопасно жить в этом мире колеблющихся теней.

Тогда я раскрыл учебники и труды физиологов, желая посмотреть, что говорит наука об этом смутном периоде человеческой жизни.

Я увидел, что в книгах записаны поразительные законы, — их вывели ученые, наблюдая над животными.

Это были необыкновенно строгие и точные законы, по-своему оберегающие маленькое существо.

Неважно, что нет разума и нет логики. Их заменяет особая реакция организма — рефлекс, то есть своеобразный ответ организма на любое раздражение, которое ребенок получил извне. Эта реакция, этот ответ и является защитой организма от опасностей.

В чем же заключается этот ответ?

Два основных нервных процесса характеризуют рефлекторную деятельность — возбуждение и торможение. Комбинация этих процессов дает тот или иной ответ. Но все разнообразие этой мозговой деятельности сводится, в сущности, к простейшей функции — к мышечному движению. То есть в ответ на любое раздражение происходит мышечное движение, или комбинация этих движений, непременно целесообразных по своему характеру.

И принцип этого рефлекса в одинаковой мере относится и к человеку, и к животному, и к младенцу.

Стало быть, не хаос, а строжайший порядок, освященный тысячелетиями, охраняет маленькое существо.

И, стало быть, первое знакомство с миром происходит по принципу этого рефлекса. И первые встречи с вещами вырабатывают привычку так или иначе к ним относиться.

4

Я прошу извинения — мне приходится говорить о предметах, весьма вероятно, знакомых просвещенному читателю.

Мне приходится говорить об элементарных вещах в расчете на то, что не все читатели твердо знают эти вещи. Быть может, они кое-что из этого позабыли и им нужно напомнить. Иные же просвещенные читатели, надо полагать, и вовсе ничего не знают, не находя интересным копаться в формулах, взятых из жизни собак.

А те, которые все знают и все помнят и, быть может, сами в этом работают, — те пусть не посетуют на меня, пусть без раздражения пробегут глазами две небольшие главки.

Я буду говорить о высшей психической функции, вернее, об истоках ее — о рефлексах.

Это все равно что говорить о первичной материи, из которой создан мир. Это одинаково важно, ибо в этом — истоки разума, истоки сознания, истоки добра и зла.

Когда-то великий ученый Ньютон вывел закон тяготения, увидев яблоко, упавшее с дерева. Не менее простая сцена позволила великому русскому ученому Павлову вывести закон условных рефлексов.

Ученый заметил, что собака в одинаковой мере реагирует и на еду и на шаги служителя, который несет эту еду. И на еду и на шаги слюнная железа собаки действовала одинаково. Стало быть, подумал ученый, в мозгу собаки возникают два очага возбуждения, и эти очаги между собой условно связаны.

Шаги служителя ученый заменил вспышкой света, стуком метронома, музыкальным звуком — слюнная железа собаки действовала одинаково. В том, конечно, случае, если эти новые раздражители хотя бы несколько раз совпали с моментом кормления.

Эти новые раздражители (свет, звук, гамма), повторенные несколько раз (в момент кормления), создавали новые нервные связи, весьма условные по своему характеру.

Другими словами — условный стук (или любой иной раздражитель) вызывал у собаки представление о еде. И на этот условный сигнал собака реагировала совершенно так же, как она реагировала на еду.

Эту условную нервную связь, которая возникла в коре мозга между двумя очагами возбуждения, ученый назвал «временной связью». Это была временная связь, ибо она исчезала, если не повторялись опыты.

Это было поразительное открытие.

5

Тогда ученый усложнил свои опыты.

Через лапу собаки он пропускал электрический ток. Эта операция сопровождалась стуком метронома.

Эта операция была повторена несколько раз. И в дальнейшем только лишь один стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию.

Другими словами — условный раздражитель (метроном)

создавал очаг возбуждения в коре мозга, и этот очаг «зажигал» второй очаг (боль), хотя раздражитель этого очага отсутствовал. Нервная связь между двумя очагами продолжала существовать.

Тогда ученый увидел, что можно чисто материальными средствами вмешиваться в работу центральной нервной системы, можно строить любые нервные связи по своему усмотрению.

Ученый получил возможность управлять поведением животного, создавать в его мозгу новые механизмы.

Найден был общий физиологический закон, в основе которого лежала простейшая функция высшей психической деятельности — рефлекс.

Этот закон в равной мере относился как к норме, так и к патологическому состоянию.

Это было великое открытие, ибо оно рассеивало мрак в той области, в которой в первую очередь должна была быть абсолютная ясность — в области сознания.

Только ясность в этой области позволяла человеческому разуму итти дальше, не возвращаться вспять — к дикости, к варварству, к мраку.

Это было величайшее открытие, ибо оно в одинаковой мере относилось и к животному, и к человеку, и тем более к младенцу, поведение которого не контролируется сознанием, логикой.

И в свете этого закона поведение младенца становилось ясным.

Младенец знакомится с миром, с окружающими вещами по принципу этого условного рефлекса.

Каждый новый предмет, каждая новая вещь создает в коре мозга младенца новые нервные связи, новые отношения. Эти нервные связи, так же как и у собаки, чрезвычайно условны.

Стук метронома вызывал у собаки болевую реакцию. Крик, хлопанье дверью, выстрел, вспышки света, любой раздражитель — случайно совпавший (скажем) с моментом кормления ребенка и повторенный несколько раз, мог создать сложные нервные связи в мозгу младенца.

Вид шприца вызывал у собаки рвоту. Вид любого предмета, случайно причинившего ребенку боль, мог и в дальнейшем причинять ему страдания.

Правда, для возникновения этого рефлекса нужна была повторяемость. Ну что ж! Повторяемость могла случиться.

Но ведь эти нервные связи названы были временными. Они погасали, если не повторялись опыты.

Тут был вопрос, который следовало тщательно продумать. Ученый предложил только лишь простейший принцип, проверенный им на собаках. Психика человека сложней. Умственное развитие человека не остается на одном уровне — оно изменяется, прогрессирует. И, стало быть, изменяются и нервные связи — они могут быть чрезвычайно сложны и запутанны.

Смерть помешала ученому продолжить свои опыты над животными, близкими человеку, — над обезьянами. Эти опыты были начаты.

Опыты над человеком не были произведены в той мере, как это надлежало сделать.

6

Это великое открытие — этот закон условных рефлексов, закон временных нервных связей я хотел применить к своей жизни.

Я хотел увидеть этот закон в действии, на примерах моей младенческой жизни.

Мне показалось, что мое несчастье могло возникнуть оттого, что в моем младенческом мозгу созданы были неверные условные связи, которые устрашали меня в дальнейшем. Мне показалось, что меня страшит шприц, которым когда-то был вспрыснут яд.

Мне захотелось разрушить эти ошибочные механизмы, возникшие в моем мозгу.

Но снова передо мной лежало препятствие — я ничего не мог вспомнить о своей младенческой жизни.

Если б я мог припомнить хотя бы одну сцену, одно происшествие, — я бы распутал дальнейшее. Нет, все было окутано туманом забвения.

А мне кто-то сказал, что надо пойти на то место, где что-то забыто, и тогда можно вспомнить это забытое.

Я спросил своих родных, где мы жили, когда я был ребенком. И родные мне сказали, где я жил первые годы своей жизни.

Это были три дома. Но один дом сгорел. В другом доме я жил, когда мне было два года. В третьем доме я провел не менее пяти лет, начиная с четырехлетнего возраста.

И еще был один дом. Этот дом был в деревне, куда ездили мои родители каждое лето.

Я записал адреса и с необычайным волнением пошел осматривать эти старинные дома.

Я долго смотрел на тот дом, в котором я жил трехлетним ребенком. Но я решительно ничего не мог вспомнить.

И тогда я пошел к тому дому, в котором я прожил пять лет.

У меня сердце упало, когда я подошел к воротам этого дома.

Боже мой! Как все здесь мне было знакомо. Я узнал лестницы, маленький сад, ворота, двор.

Я узнал почти все. Но как это было непохоже на то, что было в моей памяти.

Когда-то дом казался огромной махиной, небоскребом. Теперь передо мной стоял небольшой захудалый, трехэтажный домишко.

Когда-то сад казался сказочным, таинственным. Теперь я увидел маленький жалкий скверик.

Казалось, массивная высокая чугунная решетка опоясывала этот садик. Теперь я трогал жалкие железные прутья не выше моего пояса.

Какие иные глаза были тогда и теперь!

Я поднялся на третий этаж и нашел дверь нашей квартиры.

Мое сердце сжалось от непонятной боли. Я почувствовал себя плохо. И судорожно схватился за перила, не понимая, что со мной, почему я так волнуюсь.

Я спустился вниз и долго сидел на тумбе у ворот. Я сидел до тех пор, пока не подошел дворник. Подозрительно посмотрев на меня, он велел мне уйти.

7

Я вернулся домой совершенно больной, разбитый, непонятно чем расстроенный.

В ужасной тоске я вернулся домой. И теперь эта тоска не оставляла меня ни днем, ни ночью.

Днем я слонялся по комнате — не мог ни лежать ни сидеть. А ночью меня мучили какие-то ужасные сны.

Я раньше не видел снов. Вернее, я их видел, но я их забывал. Они были краткие и непонятные. Я их видел обычно под утро.

Теперь же они появлялись, едва я смыкал глаза.

Это даже не были сны. Это были кошмары, ужасные видения, от которых я в страхе просыпался.

Я стал принимать бром, чтоб погасить эти кошмары, чтоб быть спокойней. Но бром плохо помогал мне.

Тогда я пригласил одного врача и попросил дать мне какое-нибудь средство против этих кошмаров.

Узнав, что я принимаю бром, врач сказал:

— Что вы делаете! Наоборот, вам нужно видеть сны. Они возникают у вас оттого, что вы думаете о своем детстве. Только по этим снам вы разберетесь в своей болезни. Только в снах вы увидите те младенческие сцены, которые вы ищете. Только через сон вы проникнете в далекий забытый мир.

И тогда я рассказал врачу свой последний сон, и он стал растолковывать его. Но он так толковал этот сон, что я возмутился и не поверил ему.

Я сказал, что я видел во сне тигров и какую-то руку из стены.

Врач сказал:

— Это более чем ясно. Ваши родители слишком рано повели вас в зоологический сад. Там вы видели слона. Он напугал вас своим хоботом. Рука — это хобот. Хобот — это фаллос. У вас сексуальная травма.

Я не поверил этому врачу и возмутился. И он с обидой ответил мне:

— Я вам растолковал сон по Фрейду. Я его ученик. И нет более верной науки, которая бы вам помогла.

Тогда я пригласил еще несколько врачей. Одни смея-

лись, говоря, что толкование снов — это вздор. Другие, наоборот, придавали снам большое значение.

Среди этих врачей был один весьма умный врач. Он мне многое объяснил и многое рассказал. И я был ему очень признателен. И даже хотел стать его учеником. Но потом отказался от этого. Мне показалось, что он не прав. Я не поверил в его лечение.

Он был ужасный противник Павлова. Кроме опытов зоологического характера, он ничего не видел в его работах. Он был правоверный фрейдист. В каждом поступке ребенка и взрослого он видел сексуальное. Каждый сон он расшифровывал, как сон эротомана.

Это толкование не совпадало с тем, что я считал непогрешимым, не совпадало с методом Павлова, с принципом условных рефлексов.

8

Однако, меня поразил метод этого лечения.

Есть нечто комичное в толковании снов. Мне казалось, что этим заняты выжившие из ума старухи и мистически настроенные люди.

Мне казалось, что это несовместимо с наукой. Я был очень удивлен, когда узнал, что вся медицина возникла, в сущности, из одного источника, из одного культа — из науки о снах. Вся древняя, так называемая храмовая, медицина развивалась и культивировалась на единственной основе — на толковании снов. В этом заключался культ Эскулапа — сына Аполлона, бога врачевания у греков — Асклепия.

Почему же такое значение придавали снам? Какие мотивы имелись для этого? Неужели только мотивы религиозные и мистические? Неужели ничего разумного не лежало за этим? Ведь древний мир не был варварским. Древний мир дал нам замечательных философов, писателей, ученых. Наконец — замечательных врачей — Гиппократа, Галлена.

Как же лечили эти врачи? История медицины рассказывает о древнем методе лечения.

Больного оставляли на ночь в храме. Там он видел сон. И утром рассказывал о нем жрецам и ученым. И те ставили диагноз, какого рода недомогание у больного, и, растол-

ковывая его сон, освобождали якобы больного от страдания.

Эта древняя медицина имела, конечно, тесную связь с жрецами и религиозными мистическими приемами. Приносились жертвы в честь бога врачевания. Вся торжественная и таинственная обстановка лечения, несомненно, могла действовать на вооображение больного, могла вызывать в нем веру в могущество бога врачевания. Может быть, на основе этого самогипноза и происходило излечение?

Нет сомнения, это имело значение, но это не являлось единственной причиной излечения.

История медицины говорит, что в дальнейшем религиозные обряды, связанные с лечением, прекратились. В храмах устраивали нечто вроде санаторий. Причем в храмах стали возникать медицинские школы и корпорации врачей. Именно из храмовых школ вышли Гиппократ и Галлен.

Как же, однако, возникла эта идея толковать сны? Почему эта идея легла в основу древней медицины? Отчего это перестало быть наукой? И почему в новейшее время многие врачи и ученые, и в том числе Фрейд, пробуют сделать из этого научную дисциплину?

Я не мог ответить себе на эти вопросы.

И тогда я раскрыл учебники медицины и труды физиологов, чтобы посмотреть, что говорит современная наука о снах и о сновидениях и о возможности через сон проникнуть в далекий забытый мир младенца.

9

Что же такое сон с точки зрения современной науки?

Прежде всего это такое физиологическое состояние, при котором все внешние проявления сознания отсутствуют. Вернее — все высшие психические функции исключены, низшие функции — открыты.

Павлов считал, что ночью человек разобщается с внешним миром. Но во время сна оживают заторможенные силы, подавленные чувства, заглушенные желания.

Это происходит оттого, что в механизме сна лежит торможение. Но это торможение частичное: оно не охватывает целиком весь наш мозг, не охватывает все пункты боль-

ших полушарий. Это торможение не спускается ниже подкорковых центров.

Наш мозг, по мнению физиологов, имеет как бы два этажа. Высший этаж — это кора мозга. Здесь — центр контроля, логики, критики, центры приобретенных рефлексов, здесь жизненный опыт. И низший этаж — источник наследственных рефлексов, источник животных навыков, животных сил.

Два эти этажа соединены между собой нервными связями, о которых мы говорили.

Ночью высший этаж погружается в сон. В силу этого сознание отсутствует. Отсутствует контроль, критика, условные навыки.

Низший этаж продолжает бодрствовать. Однако, отсутствие контроля позволяет его обитателям проявляться в той или иной степени.

Допустим, логика или умственное развитие затормозило или оттеснило когда-то возникший страх ребенка. При отсутствии контроля этот страх может вновь возникнуть. Но он возникает в сновидениях.

Стало быть, сновидение есть продолжение духовной жизни, продолжение психической деятельности человека при отсутствии контроля.

И, стало быть, сновидение может объяснить, какого рода силы тормозят человека, что устрашает его и что можно изгнать светом логики, светом сознания.[1])

Становится понятным, почему древняя медицина придавала снам такое значение.

Вместе с тем приходится удивляться: современная наука только лишь недавно сумела разобраться в механизмах нашего мозга. Между тем на заре человеческой культуры, несколько тысячелетий назад, возникла идея — найти то, что во время сна не контролируется.

Мы не знаем, кому принадлежит честь создания древней медицины. В основе этой древней науки была светлая идея, блестящая мысль гениального человека.

Из рук гения эта идея перешла в руки бездарных, посредственных людей. И те в соответствии со своими возможностями свели ее до своего уровня, до степени шарлатанства.

---

[1]) Дальнейшее показало, что можно иным путем, не только через сон, найти причину патологического торможения.

Нечто комическое стало присутствовать в этой идее. Современный человек не может без улыбки рассматривать старинные сонники, старинные толкователи снов. Чушь и вздор присутствуют на каждой странице этих старинных книг.

Правильная идея была опошлена до такой степени, что разобраться в ней не представлялось возможным.

И только в свете современной физиологии эта идея — проникнуть в психику больного, понять, что вызывает торможение — становится ясной.

Вот почему в новейшее время ученые пробуют заново подойти к снам, пробуют через сны увидеть источник психоневрозов, пробуют заново понять то, что могло казаться трагедией человеческого разума.

10

Итак, два этажа имеет наш мозг — высший и низший.

Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных.

Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга — мир цивилизованный и мир животного.

Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими. Побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе.

Казалось, именно в этой борьбе — источник многих нервных страданий.

Однако, беды лежат совершенно не в этом.

Мне не хотелось бы забегать слишком вперед, но я вкратце скажу. Даже если допустить, что этот конфликт высшего с низшим является причиной нервных страданий, то эта причина не всеобъемлющая, это лишь частичная причина, далеко не главная и не основная.

Этот конфликт высшего с низшим мог (допустим) привести к некоторым сексуальным психоневрозам. И если б наука увидела в этом конфликте, в этой борьбе, единственную причину — она не пошла бы дальше раскрытия сексуальных торможений.

Борьба же в этой области есть в какой-то мере норма, а не патология.

Мне кажется, что система Фрейда порочна именно в этом пункте.

Этот порок, эту ошибку легко было совершить, не учитывая механизмов, раскрытых Павловым.

Неточность в первоначальных установках, расплывчатость в формулировке борьбы высшего с низшим создавало неточный вывод, уводило в одну сторону, в сторону сексуальных отклонений. А это не определяло дела. Это было лишь частью одного целого.

11

В конфликте высшего с низшим, в столкновении атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека Фрейд видел источник нервных страданий. Фрейд писал: «Запрещенные ходом культурной жизни и вытесненные в глубины подсознания, эти влечения существуют и дают о себе знать, прорываясь в наше сознание в искаженном виде...». Стало быть, в победе разума над животными инстинктами была усмотрена причина трагедии. Другими словами — высокий разум подвергнут сомнению.

История человеческой мысли знает многочисленные примеры, когда разуму приписывались беды, когда высокое сознание подвергалось нападкам, и, стало быть, трагедию человеческого разума люди видели иной раз — в высоком сознании, в конфликте высшего с низшим. Им казалось, что победа сознания над низшими инстинктами несет беду, несет болезни, нервные страдания, слабость духа, психоневрозы.

Это казалось трагедией, из которой был единственный выход — возврат к прошлому, возврат к природе, уход от цивилизации. Казалось, что пути человеческого разума — ошибочны, искусственны, ненужны.

Я не считаю эту философию тождественной с философией фашизма. У фашизма иные корни, иная природа, но в отношении к разуму фашизм почерпнул нечто от этой философии, исказив ее, упростив, снизив до уровня тупоумных людей.

Возврат к варварству — это не есть формулировка, предложенная фашизмом только лишь для нужд войны. Это

есть одна из основных установок для будущего облика человека с точки зрения фашизма.

Лучше — варварство, дикость, инстинкты животного, чем дальнейший прогресс сознания.

Нелепость!

Люди, искусственно ввергнутые в варварство, ни в какой мере не избавились бы от тех нервных страданий, которые их тревожат. Землю населяли бы мерзавцы, с которых снята ответственность за их подлости. Но это были бы мерзавцы, которые не избавились бы от прежних страданий. Это были бы страдающие мерзавцы, еще в большей степени нездоровые чем прежде.

Вернуться к гармоническому варварству, о котором фантазировали люди, — не представлялось возможным даже и тысячи лет назад. А если б такая возможность имелась — источник страданий остался бы. Ибо остались бы механизмы мозга. Мы не в силах их уничтожить. Мы можем только лишь научиться обращаться с ними. И мы должны этому научиться с тем искусством, которое достойно высокого сознания.

Эти механизмы, открытые Павловым, мы должны изучить в совершенстве. Уменье обращаться с ними освободит нас от тех огромных страданий, которые терпят люди с варварским смирением.

Трагедия человеческого разума происходит не от высоты сознания, а от его недостатка.

12

Наука несовершенна. Истина — дочь времени. Будут найдены иные, более точные пути. Пока же с помощью тщательного анализа сновидения мы можем заглянуть в далекий мир младенца, в тот мир, который не контролируется разумом, в тот мир забвения, откуда иной раз берут начало источники наших бед.

И тогда сон может объяснить причину патологического торможения, а павловская система условных рефлексов на примерах этих сновидений может устранить беду. То, что заторможено, может быть раскрыто.

Это заторможение можно снять светом логики, светом высокого сознания, а не тусклым светом варварства.

И вот все это продумав, я понял, что я могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках.

Ночью откроются двери нижнего этажа. Часовые моего сознания уснут. И тогда тени прошлого, томящиеся в подполье, появятся в сновидениях.

Я захотел немедленно встретиться с этими тенями, увидеть их, чтобы, наконец, понять мою трагедию или ошибку, совершенную на заре жизни, перед восходом солнца.

Я захотел вспомнить какой-нибудь сон из тех недавних снов, какие я во множестве видел. Однако ни одного сна полностью я не мог припомнить. Я забыл.

Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу, о чем эти сны.

И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь.

VI. ЧЕРНАЯ ВОДА

Как свинец, черна вода,
В ней забвенье навсегда.

1

Я случайно поехал в деревню, где провел свое детство.

Я давно собирался туда съездить. И вот, гуляя по набережной, я увидел пароход, стоящий у пристани. Почти машинально я сел на этот пароход и поехал в деревню.

Это была деревня «Пески» по Неве, недалеко от Шлиссельбурга.

Более двадцати лет я не был в этих местах.

Пароход не остановился у деревни «Пески». Там теперь не было пристани. Я переехал Неву на лодке.

Ах, с каким волнением я вышел на берег. Я сразу узнал маленькую круглую часовенку. Она была цела. Я сразу вспомнил избы напротив, деревенскую улицу и крутой подъем с того берега, где когда-то была пристань.

Все теперь казалось жалким, миниатюрным в сравнении с тем грандиозным миром, который остался в моей памяти.

Я шел по улице, и все здесь до боли мне было знакомо. Кроме людей. Ни одного человека я не мог узнать во встречных людях.

Тогда я зашел во двор того дома, где мы когда-то жили.

Во дворе стояла немолодая женщина. У нее в руках было весло. Она только что прогнала какого-то теленка со двора. И теперь стояла разгневанная, разгоряченная.

Она не захотела со мной говорить. Но я назвал не-

сколько фамилий тех деревенских жителей, о которых я вспомнил.

Нет, все эти фамилии принадлежали уже умершим людям.

Тогда я назвал свою фамилию, фамилию моих родителей. И женщина заулыбалась. Она сказала, что она тогда была совсем молодой девушкой, но она отлично помнит моих покойных родителей. И тогда она стала называть фамилии наших родственников, живших здесь, фамилии знакомых. Нет, все названные фамилии также принадлежали умершим людям.

С грустью я возвращался к своей лодке.

С грустью я шел по деревенской улице. Только улица и дома были те же. Обитатели были иные. Прежние пожили здесь, как гости, и ушли, исчезли, чтоб никогда сюда не вернуться. Они умерли.

Мне показалось, что в тот день я понял, что такое жизнь, что такое смерть, и как надо жить.

2

С превеликой грустью я вернулся домой. И дома не стал даже думать о своих поисках, о своем детстве. Все сделалось мне безразличным.

Все показалось вздором, чушью, в сравнении с той картиной короткой жизни, которую я увидел сегодня.

Стоит ли думать, бороться, искать, защищаться. Стоит ли по-хозяйски располагаться в жизни, которая проходит так стремительно, с такой обидной, даже комичной быстротой.

Не лучше ли безропотно прожить, как живется, и уступить свое жалкое место иным побегам земли.

Кто-то засмеялся в соседней комнате, когда я думал об этих вещах. И мне показалось странным и диким, что люди могут смеяться, шутить, даже говорить, когда так все глупо, бессмысленно, обидно.

Мне показалось, что легче и проще умереть, чем покорно и тупо ждать той участи, которая ожидает каждого. В этом решении я неожиданно увидел мужество. Как был бы я поражен, если б тогда мне сказали о том, о чем теперь я

знаю — это было вовсе не мужество, это была крайняя степень инфантильности. Это было продиктовано страхом младенца перед тем, что я хотел найти. Это было сопротивление. Это было бегство.

Я решил прекратить свои поиски. И с этим решением я заснул.

Ночью я в страхе проснулся от какого-то ужасного сна. Страх был так силен, что, даже проснувшись, я продолжал дрожать.

Я зажег лампу и записал свой сон, чтоб утром о нем подумать, хотя бы из любопытства.

Однако, я не смог уснуть и стал думать об этом сне.

В сущности, сон был чрезвычайно глупый. Бурная темная река. Мутная, почти черная вода. По воде плывет что-то белое — бумага или тряпка. Я на берегу. Что есть духу бегу прочь от берега. Бегу по полю. Поле почему-то синее. И кто-то гонится за мной. И вот-вот хочет схватить меня за плечо. Уже рука этого человека дотрагивается до меня. Рванувшись вперед, я убегаю.

Я стал обдумывать этот сон, но ничего не понял.

Тогда я стал думать, что вот опять я увидел во сне воду. Эту темную, черную воду... И вдруг вспомнил стихи Блока:

Старый, старый сон... Из мрака
Фонари бегут — куда?
Там лишь черная вода,
Там забвенье навсегда...

Этот сон был похож на мой сон.

Я бежал от черной воды, от «забвенья навсегда».

3

Я стал припоминать сны, связанные с водой. Вот я купаюсь в бурном море. Борюсь с волнами. Вот куда-то бреду по колено в воде. Или сижу на берегу, а вода плещется у моих ног. Либо иду по самому краю набережной. И вдруг вода поднимается все выше и выше. Страх охватывает меня. Я убегаю.

Я вспомнил еще один сон. Я сижу в своей комнате. Вдруг, из всех щелей пола начинает просачиваться вода. Еще минута, — и комната наполняется водой.

Обычно после таких снов я просыпался угнетенный, больной, в дурном расположении духа. Обычно моя тоска усиливалась после таких снов.

Может быть, частые наводнения в Ленинграде повлияли на мою психику? Может быть, что-нибудь еще было связано с водой?

Я стал припоминать те сцены, которые я записал в поисках несчастного происшествия. Я снова вспомнил рассказ об утопленнике, рассказ о наводнении, сцены того, как чуть не утонул я, моя сестра.

Нет сомнения — вода была связана с каким-то сильным ощущением. Но с каким?

Может быть, я вообще боюсь воды? Нет. Наоборот. Я чрезвычайно люблю воду. Я могу часами любоваться морем. Могу часами сидеть на берегу реки. Я обычно езжу только туда, где есть море, река. Я всегда стремился найти комнату с окнами на воду. Я всегда мечтал жить где-нибудь на берегу, совсем близко к воде, так, чтоб волны были почти у крыльца моего дома.

Море или река нередко возвращали мне спокойствие в той тоске, которая посещала меня так часто.

А что, если это не любовь к воде, а страх?

Что, если за этой преувеличенной любовью таится почтительный страх?

Может быть, я не любуюсь водой, а слежу за ней? Может быть, я любуюсь ею, когда она тихая, когда она не собирается меня поглотить?

Может быть, я слежу за ней с берега, из окна моей комнаты? Может, я располагаюсь поближе к ней, чтоб быть настороже, чтоб она не застала меня врасплох?

Может быть, это тот страх, который не доходит до моего сознания, который гнездится в нижнем этаже моей психики, оттесненный туда логикой, контролем разума?

Я засмеялся — так это было комично и вместе с тем, видимо, правильно.

Не оставалось никакого сомнения — страх к воде присутствовал в моем разуме. Но он был деформирован. Он был не в том виде, как мы его понимаем.

4

Тогда мне показалось, что я понял свой сон. Он, несомненно, относился к младенческим дням. Чтобы его понять, нужно было отвлечься от обычных представлений, нужно было мыслить образами младенца, видеть его глазами.

Конечно, не в полной мере его образами — они, несомненно, были слишком бедны. Они изменялись вместе с развитием. Но символика их, видимо, оставалась прежней.

Мутная бурная река — это ванна или корыто с водой. Синий берег — одеяло. Белая тряпка — пеленка, которая оставалась в корыте. Ребенка вынули из воды, в которой его купали. Ребенок «спасен». Но угроза осталась.

Я снова засмеялся. Это было комично, но достоверно. Это было наивно, но не более наивно, чем должно быть.

Но как же это могло случиться? Все младенцы купаются. Всех ребят погружают в воду. У них не остается страха. Почему же я был устрашен?

Значит, вода не была первопричиной, — подумал я. — Значит, имелись еще какие-то объекты устрашения, связанные с водой.

Тут я вспомнил принцип условных рефлексов.

Один раздражитель мог вызвать два очага возбуждения, ибо между ними могла быть налажена условная нервная связь.

Только лишь вода, в которую меня погружали, не могла создать волнение в такой степени, как это было. Значит, вода условно связана еще с чем-то. Значит, это не был страх к воде, но вода вызывала страх, ибо нервные связи соединяли ее еще с какой-то опасностью. Вот в какой сложности решался этот вопрос, и вот почему вода могла устрашать.

Однако, с чем же связана вода? Какого рода «яд» она содержала? В чем заключается второй несчастный раздражитель, «зажигающий» комбинацию столь бурного ответа?

Я пока не стал гадать о втором раздражителе, о втором очаге возбуждения, к которому так явственно тянулись нервные связи.

Впрочем этот раздражитель был уже отчасти виден из того же сна. Мир младенца беден, объекты весьма ограниче-

ны в своем количестве. Раздражители немногочисленны. Но моя неопытность не позволила мне сразу отыскать этот второй раздражитель.

Загадка не была разгадана, но ключи от нее были в моих руках.

Дальнейшее показало, что в основном я не ошибся. Я ошибся только в количестве очагов возбуждения — их оказалось не два, а несколько. И они были переплетены между собой сложнейшей сетью условных связей.

Комбинация возникших очагов возбуждения давала тот или иной ответ.

5

Принцип условных рефлексов говорит о том, что нервные связи имеют временный характер. Нужна повторяемость опытов, чтобы они возникли и утвердились. Без опытов они угасают или исчезают вовсе.

Ну что ж. Вода в данном случае являлась превосходным и частым раздражителем в жизни младенца. Повторяемость несомненно была. Я не знал еще, какого рода был второй раздражитель, но мне было понятно, что его условная связь с водой могла утвердиться.

Но ведь потом, с развитием ребенка, эта связь должна была исчезнуть. Ведь повторяемость не могла продолжаться вечно. Ведь если не ребенок и не юноша, то, наконец, зрелый мужчина смог бы разорвать эту неправильную ложную связь. А она была неправильна, ошибочна — это очевидно.

Умственное развитие действительно борется с неверными, ложными, нелогичными представлениями. Однако ребенок, развиваясь, мог встретиться с иными, более логичными доказательствами опасности того, чего он боится.

Снова я стал пересматривать свои воспоминания, связанные с водой.

Доказательства опасности воды были на каждом шагу.

В воде тонут люди. Я могу утонуть. Вода заливает город. В воду бросаются, чтоб умереть.

Какие веские доказательства опасности воды.

Нет сомнения — это могло устрашить ребенка, доказать ему, что младенческое его представление правильно.

Эти своего рода «ложные» доказательства могли сопровождать меня всю жизнь. Это, несомненно, так и было. Вода сохраняла элементы устрашения, питала младенческий страх. Возникшие временные связи с водой могли не исчезать, они могли все сильней и крепче утверждаться.

Значит, умственное развитие человека не уничтожает временных условных связей, оно только перестраивает их, поднимает эти ложные доказательства на уровень своего развития. И, быть может, угодливо выискивает эти доказательства, не слишком проверяя их, ибо они и без проверки уживаются с логикой, падая на больную почву.

Эти ложные доказательства нередко сливаются с подлинными доказательствами. Вода действительно опасна. Но невротик воспринимает эту опасность не в том качестве, и реакция его на эту опасность также не в том качестве, как это должно быть в норме.

6

Но если это так, если вода была одним из элементов устрашения, одним из раздражителей в комбинации моего психоневроза, то какая же печальная и жалкая картина открывалась моему взору.

Ведь именно водой меня и лечили. Именно водой и пробовали избавить меня от тоски.

Мне прописывали воду и во внутрь и снаружи. Меня сажали в ванны, завертывали в мокрые простыни, прописывали души. Посылали на море — путешествовать и купаться.

Боже мой! От одного этого лечения могла возникнуть тоска.

Это лечение могло усилить конфликт, могло создать безвыходное положение.

А ведь вода была только частью беды, может быть, ничтожной частью.

Лечение впрочем не создало безвыходного положения. Этого лечения можно было избежать. Я так и поступил. Я перестал лечиться.

Для того чтобы не лечиться, я выдумал нелепую тео-

рию о том, что для полноты здоровья человек должен все время и без перерыва работать. Я перестал ездить на курорты, считая это излишней роскошью.

Таким образом я освободился от лечения.

Но я не мог освободиться от постоянного столкновения с тем, что меня устрашало. Страх продолжал существовать.

Этот страх был неосознан. Об его существовании я не знал, ибо он был вытеснен в нижний этаж моей психики. Часовые моего разума не выпускали его на свободу. Он имел право выходить только ночью, когда мое сознание не контролировало.

Этот страх жил ночной жизнью, в сновидениях. А днем, в столкновении с объектом устрашения, он проявлялся только косвенным образом — в непонятных симптомах, кои могли сбить с толку любого врача.

Мы знаем, что такое страх, знаем его воздействие на работу нашего тела. Мы знаем его оборонительные рефлексы. В основе их — стремление избежать опасности.

Симптомы страха разнообразны. Они зависят от силы страха. Они выражаются в сжатии кровеносных сосудов, в спазмах кишечника, в судорожном сокращении мышц, в сердцебиениях, и так далее. Крайняя степень страха вызывает полный или частичный паралич.

Именно такие симптомы создавал неосознанный страх, который я испытывал. В той или иной степени они выражались в сердечных припадках, в задержке дыхания, в спазмах, в судорожном подергивании мышц.

Это были прежде всего симптомы страха. Хроническое присутствие его нарушало нормальные функции тела, создавало стойкие торможения, вело к хроническим недомоганиям.

В основе этих симптомов была «целесообразность» — они преграждали мой путь к «опасности», они подготовляли бегство.

Животное, которое не может избежать опасности, притворяется мертвым.

Подчас я притворялся мертвым, больным, слабым, когда было невозможно уйти от «опасности».

Все это было ответом на раздражение, полученное извне. Это был сложный ответ, ибо условные нервные связи, как мы в дальнейшем увидим, были весьма сложны.

7

Можно допустить, что так поступает ребенок, желая избежать «опасности». Но как поступает взрослый?

Как поступал я? Неужели я не боролся с этим вздором? Неужели только спасался бегством? Неужели я действительно был несчастной пылинкой, гонимой любой случайностью?

Нет, я боролся с этим, защищался от этой неосознанной беды. И эта защита всякий раз была в соответствии с моим развитием.

В детские годы поведение сводилось главным образом к бегству и в какой-то мере к желанию овладеть водой, «освоить» ее. Я пробовал научиться плавать. Но я не научился. Страх цепко держал меня в своих руках.

Я научился плавать только юношей, поборов этот страх.

Это была первая победа и, пожалуй, единственная. Я помню, как я был горд этим.

Мое сознание и в дальнейшем не уводило меня от этой борьбы. Наоборот, мое сознание вело меня к этой борьбе. Всякий раз я стремился скорей встретиться с моим могущественным противником, чтоб еще раз помериться с ним силами.

Именно в этом и лежало противоречие, которое маскировало страх.

Я не избегал пароходов, лодок, я не избегал быть на море. Наперекор своему страху я как бы нарочно шел на это единоборство. Мое сознание не желало признаться в поражениях или даже в малодушии.

Я помню такой случай на фронте. Я вел батальон на позиции. Перед нами оказалась река. Была минута, когда я смутился. Переправа была нетрудная, тем не менее я послал разведчиков вправо и влево, чтобы найти еще более легкие переправы. Я послал их с тайной надеждой найти какой-нибудь пересохший путь через реку.

Было начало лета, и таких путей не могло быть.

Я был смущен только минуту. Я велел позвать разведчиков назад. И повел батальон через реку.

Я помню свое волнение, когда мы вошли в воду. Я помню свое сердцебиение, с которым едва справился.

Оказалось, что я поступил правильно. Переправы всюду были одинаковы. И я был счастлив, что не промедлил, что поступил решительно.

Значит, я не был слепым орудием в руках своего страха. Мое поведение всякий раз было продиктовано долгом, совестью, сознанием. Но конфликт, который возникал при этом, нередко приводил меня к недомоганию.

Страх действовал вне моего разума. Бурный ответ на раздражение был вне моего сознания. Но болезненные симптомы были слишком очевидны. О их происхождении я не знал. Врачи же фиксировали их в грубом счете — как неврозы, вызванные переутомлением, усталостью.

Чувствуя неравенство в силах, тем не менее я продолжал вести борьбу с неосознанным страхом. Но как странно шла борьба. Какие странные пути были найдены для сомнительной победы.

8

Изучением воды тридцатилетний человек хотел освободиться от страха. Борьба пошла по линии знания, по линии науки.

Это было поразительно, ибо сознание участвовало в этой борьбе. Я не в полной мере понимаю, как возникли эти пути. Сознанию не были известны механизмы несчастья, и, быть может, поэтому избран был общий путь, как бы и верный, но для данного случая ошибочный, даже комичный.

Все мои тетради, записные книжки стали заполняться сведениями о воде.

Эти тетради сейчас передо мной. С улыбкой я просматриваю их. Вот записи о самых сильных бурях и наводнениях в мире. Вот подробнейшие цифры — глубин морей и океанов. Вот сведения о наиболее бурных водах. О скалистых берегах, к которым не могут подойти корабли. О водопадах.

Вот сведения об утонувших людях. О первой помощи утопленникам.

Вот запись, подчеркнутая красным карандашом:

«71 процент земной поверхности находится под водой, и только двадцать девять процентов суши».

Трагическая запись! Красным карандашом приписано: «3/4 земного шара — вода!»

Вот еще трагические записи, из которых можно увидеть, каков процент воды в теле людей, животных, растений:

«Рыбы — 70-80%, медузы — 96%, картофель — 75%, кости — 50%...».

Какая проделана гигантская работа! Какая бессмысленная.

Вот целая тетрадочка исписана сведениями о ветрах. Это понятно: ветер — причина наводнений, причина бурь, штормов.

Кусочек из записи:

«3 метра в 1 секунду — шевелятся листья;
10 метров в 1 секунду — качаются большие ветви;
20 метров в 1 секунду — сильный ветер;
30 метров в 1 секунду — буря;
35 метров в 1 секунду — буря, переходящая в ураган;
40 метров в 1 секунду — ураган, разрушающий дома».

Под записью справка: тай — чрезвычайный, фунг — ветер. Тайфунг в 1892 году (остров Маврикия) — 54 метра в секунду!

Вот еще одна тетрадь о наводнениях в Ленинграде.

Перелистывая эти мои тетради, я сначала улыбался. Потом улыбка сменилась скорбью. Какая трагическая борьба. Какой «интеллектуальный» и вместе с тем варварский путь нашло сознание для того, чтобы путем знаний «освоить» противника, уничтожить страх, одержать победу.

Какой трагический путь был найден. Он был в соответствии с моим умственным развитием.

9

Этот путь нашел отражение и в моей литературе.

Но тут я должен оговориться. Я вовсе не хочу сказать, что этот путь — страх и желание уничтожить его — предопределял мою жизнь, мои шаги, мое поведение, мою меланхолию, мои литературные намерения.

Вовсе нет. Мое поведение оставалось бы точно таким же, как если бы страх отсутствовал. Но страх усложнял шаги, усиливал недомогание, увеличивал меланхолию, кото-

рая могла существовать и без него, в силу иных причин, в силу тех обстоятельств, кои в равной степени относились и ко всем людям.

Страх не предопределял путей, но он был одним из слагаемых в сложной сумме сил, действующих на человека.

Было бы ошибкой не учитывать этого слагаемого: Но ошибка была бы еще грубей — воспринимать это слагаемое как сумму, как нечто единственное действующее на человека.

Только в сложном счете решался вопрос.

Мы видели эту сложность в моем поведении. Основной двигатель был не страх, а иные силы — долг, разум, совесть. Эти силы оказались значительно выше низменных сил.

Мое поведение было в основном разумным. Страх не вел меня за руку, как слепца. Но он присутствовал во мне, нарушал правильную работу моего тела, заставлял избегать «опасностей», если не было более высоких чувств или обязанностей.

В общем прессе он давил на меня и, главным образом, воздействовал на мое физическое состояние.

Мое сознание намерено было устранить его. Умственное развитие избрало путь знаний. Профессиональные навыки литератора также приняли участие в этой борьбе. Среди многих тем, которые меня занимали — была тема, связанная с водой. К этой теме я имел особую склонность.

Полгода я провел над материалами Эпрона, изучая историю гибели «Черного принца».

Работая над этой книгой, я тщательно обследовал все, что к этому относилось. Я выезжал на место работ, знакомился с водолазным делом, собирал литературу о всех изобретениях в этой области.

Закончив книгу «Черный принц», я тотчас принялся собирать материалы о гибели подводной лодки «55». Эту книгу я не закончил. Тема перестала меня занимать, ибо к этому времени я нашел более разумный путь для борьбы.

Итак, изучением воды во всех ее свойствах я хотел освободиться от несчастья, от неосознанного страха. Этот страх не относился даже к воде. Но вода вызывала страх, ибо она была условно связана с иным предметом устрашения.

Борьба против этого страха, повторяю, находилась в соответствии с моим умственным развитием.

Какая трагическая борьба. Какое горе и какое поражение она мне сулила. Какие удары были предназначены для моего жалкого тела.

О каких же бедах от высокого сознания можно говорить?

Пока можно лишь говорить о разуме, которому нехватает знаний. Можно говорить о маленьком несчастном дикаре, который бредет по узкой горной тропинке, едва освещенный первыми лучами утреннего солнца.

10

Итак, первые шаги в поисках несчастного происшествия были сделаны.

Несчастное происшествие возникло при первом знакомстве с окружающим миром. Оно произошло в предрассветных сумерках, перед восходом солнца.

Это не было даже происшествием. Это была ошибка, несчастный случай, поразительная комбинация случайностей.

Эта случайность создала неверные, болезненные представления о некоторых вещах, в том числе о воде.

Это была драма, в которой моя вина была не больше чем страданье.

Однако эта драма до конца еще не раскрыта.

Змею мы рассекли, но не убили.
Она срастется и — опять жива.

Надо было найти условные нервные связи, которые вели от воды к чему-то неизвестному, к чему-то, может быть, еще более страшному. Без этого вода не была бы предметом ужаса.

И вот, уверенный в своих силах, я пошел дальше в поисках моего несчастного происшествия.

СОДЕРЖАНИЕ

В МАГАЗИНАХ РУССКОЙ КНИГИ
ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ
ПРОДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:

Принятые сокращения:

МЛС — Международное Литературное Содружество (Inter-Language Literary Associates), Нью-Йорк.

РК — Издательство «Русская Книга», Вашингтон.

ТЗП — Издательство Товарищества Зарубежных Писателей. Мюнхен.

YMCA — Издательство Союза Христианских Молодых Людей, Париж.

ИР — Издательство И. Г. Раузена, Нью-Йорк.

ИВК — Издательство В. П. Камкина, Вашингтон.

Цены даны в долларах.

АВТОРХАНОВ А. *Технология власти.* 1959, 418 стр. Цена 2.00.

АЛЕКСЕЕВА Лидия. *В пути. Стихи.* Изд. 2-ое, Нью-Йорк, 1962, 60 стр. Цена 1.00.

— » — *Прозрачный след.* Стихи, Нью-Йорк, 1964, 60 стр. Цена 1.00.

АНДРЕЕВ Г. *Трудные дороги.* Повесть. ТЗП, 1959, 156 стр. Цена 1.75.

АННЕНКОВ Юрий. *Дневник моих встреч.* Цикл трагедий. В двух томах. С портретами работы автора. Вступительные статьи — издательства, Вальдемара Жоржа, Алексиса Раннита и Евгения Замятина. Обложка и переплет С. Голлербаха. МЛС, 1966:

Том первый. Горький, Блок, Гумилев, Ахматова, Хлебников, Есенин, Маяковский, А. Ремизов, С. Прокофьев, Замятин, Пильняк, Бабель, Зощенко, Репин, Г. Иванов. 33 портрета. 346 стр. Цена 4.75, в коленкор. переплете — 5.75.

Том второй. Мейерхольд, Евреинов, Б. Пастернак, Пудовкин, К. Малевич, Татлин, Н. Гончарова,

М. Ларионов, С. Маковский, А. Бенуа, Ал. Толстой, Ленин, Троцкий и др. 33 портрета. 337 стр. Цена 4.75, в коленк. переплете — 5.75.

АРЖАК Николай. *Искупление*. Рассказ. МЛС, 1964, 71 стр. Цена 1.00.

— » — *Говорит Москва*. Повести и рассказы. (Говорит Москва, Руки, Человек из Минапа, Искупление). Предисловие и послесловие Б. Филиппова. Обложка Н. Сафонова, портрет автора. МЛС, 1966. 167 стр. Цена 2.25.

АРОН Р. *Опиум для интеллигенции*. 1960, 236 стр. Цена 2.00.

АХМАТОВА Анна. *Сочинения*. Том первый. Редакция, вступительные статьи и примечания Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, с портретами и факсимиле Ахматовой. Обложка и переплет работы С. Голлербаха. МЛС, 1965, 464 стр. Цена 4.50, в холщевом переплете — 5.75.

БАБЕЛЬ И. *Конармия*. Фотокопия изд. ГИЗ, 1928, 176 стр. Цена 2.00

БАШКИРЦЕВ И. *Жизнь измятая*. Роман. Часть 1-я. Мюнхен, 1963, 168 стр. Цена 2.00.

БЕРДЯЕВ Н. *Истоки и смысл русского коммунизма*. YMCA, 1955, 157 стр. Цена 1.50.

БОГДАНОВ Л. *Телеграмма из Москвы*. Мюнхен, 1957, 154 стр., цена 1.50.

— » — *В стороне от большой дороги*. Вашингтон, 1964, 28 стр., цена 0.60.

БРОДСКИЙ Иосиф. *Стихотворения и поэмы*. Редакция и вступ. статья Г. Стукова. МЛС, 1965, 239 стр. Цена 2.25.

БУЛГАКОВ Михаил. *Иван Васильевич. — Мертвые души*. Пьесы. ТЗП, 1964, 145 стр. Цена 2.50.

БУШМАН Ирина. *Поэтическое искусство Мандельштама.* Мюнхен, 1964, 75 стр., с портретом Мандельштама. Цена 0.75.

Воздушные Пути. Альманахи. Ред.-изд. Р. Н. Гринберг, Нью-Йорк. В альманахах помещены произведения Г. Адамовича, А. Ахматовой, И. Бабеля, И. Бродского, В. Вейдле, Г. Кузнецовой, А. Лурье, О. Мандельштама, Ю. Марголина, В. Маркова, В. Набокова, Б. Пастернака, Л. Ржевского, А. Седых, Е. Тагер, Н. Ульянова, Б. Филиппова, В. Ходасевича, М. Чехова, Л. Шаляпиной, Л. Шестова, Эрге и др. Портреты Ахматовой, И. Бабеля, О. Мандельштама, Ф. Шаляпина и др.

Альманах второй, 1961, 269 стр. Цена 3.50.
Альманах третий, 1963, 302 стр. Цена 4.00
Альманах четвертый, 1965, 302 стр. Цена 4.75.

ГУМИЛЕВ Н. *Собрание сочинений в 4-х томах.* Под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. ИВК. С портретами автора, факсимиле и т. д.:

Том первый. Стихи. Вступ. статья Г. П. Струве, 1962, 2+56+349 стр. Цена 5.00.

Том второй. Стихи. Поэмы. Вступ. статья Г. П. Струве, 1964, 2+40+378 стр. Цена 5.00.

Том третий. Стихи. Драматические произведения. Вступ. статья В. М. Сечкарева, 1966, 2+38+360 стр. Цена 5.00.

ГУНДУЛИЧ И. *Слезы блудного сына.* Перевод Л. Алексеевой. Вступ. статья ред. и комментарии Р. В. Плетнева. МЛС, 1965, 81 стр. Цена 1.25.

ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. У *Тихона.* Пропущенная глава из романа «Бесы». Ред. Е. Жиглевич. Вступ. статья А. Козина. МЛС, 1964, 141 стр. Цена 2.00

ЕМЕЛЬЯНОВ В. *Свидание Джима.* Повесть. Изд. 2-ое. Париж, 1964, 118 стр. С портретом автора. Цена 2.00.

ЗАБОЛОЦКИЙ Н. *Стихотворения.* Под. ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступ. статьи А. Раннита, Б. Филиппова и Э. Райса. С портретами автора. Рисунок обложки и переплета Евгении Жиглевич. МЛС, 1965, 71+368 стр. Цена 4. 74, в коленкор. переплете — 5.50.

ЗАЙЦЕВ Борис. *Далекое.* С портретом автора работы С. Иванова, МЛС, 1965, 203 стр. Цена 3.00.

ЗАМЯТИН Е. *Повести и рассказы.* Вступ. статья М. Слонима. Мюнхен, 1963, 320 стр. С портретом автора работы Б. Кустодиева. Цена 3.00

ЗАМЯТИН Е. *Мы.* Вступ. статья Е. Жиглевич. Послесловие В. Бондаренко. Портрет работы Ю. Анненкова. Обложка Е. Жиглевич. МЛС, 1967, 10+224 стр., Цена 2.80

КАНДИНСКИЙ Василий. *О духовном в искусстве.* Предисловие Н. Кандинской. Перевод А. Лисовского, пересмотренный Н. Н. Кандинской и Е. В. Житлевич. Гравюры и репродукции картин В. Кандинского. Редакция Е. Жиглевич. МЛС, 1967, 151 стр. Цена 3.50, в тверд. переплете 4.50

КЛЕНОВСКИЙ Дмитрий. *Разрозненная тайна.* Стихи. Мюнхен, 1965, 56 стр. Цена 1.00.

— » — *Стихи.* МЛС, 1967, 216 стр. Цена 3.50.

ЛЕОНГАРД В. *Революция отвергает своих детей.* Изд. «Кондор», 1960, 578 стр. Цена 3.50.

Литературное Зарубежье. Сборник-антология. 1958, 356 стр. (произведения Г. Андреева, О. Анстей, Ю. Большухина, И. Елагина, О. Ильинского, А. Кашина, Д. Кленовского, М. Корякова, С. Максимова. Н. Моршена, Н. Нарокова, Л. Ржевского, В. Свена, Б. Филиппова, Б. Ширяева, А. Шишковой, С. Юрасова). Цена 2.00.

МАКОВСКИЙ С. *На Парнасе серебряного века.* Воспоминания. Мюнхен, 1961, 370 стр. С портретами. Цена 3.00.

МАНДЕЛЬШТАМ Осип. *Собрание сочинений.* Редакция Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Том первый. Вступ. статьи К. Брауна, Г. П. Струве и Э. М. Райса. МЛС, 1964, 4+105+577 стр. С портретами автора. Первый портрет и рисунок переплета и обложки С. Голлербаха. Цена 5.50, в переплете — 6.25.

Том второй: Стихотворения, — Проза. Вступительная статья Б. А. Филиппова. 1966, 4+18+637 стр. Цена 5.75, в переплете — 6.25.

«МОСТЫ». Альманахи. Мюнхен. Книги 11 и 12 — ТЗП. В альманахах помещены произведения:

Г. Адамовича, Л. Алексеевой, Г. Андреева, Ю. Анненкова, О. Анстей, Аргуса, Н. Арсеньева, А. Бахраха, Н. Берберовой, Н. Бердяева, П. Бобринского, Ю. Большухина, В. Бондаренко, о. Сергия Булгакова, И. Буркина, И. Бушман, Ив. Бунина, В. Варшавского, В. Вейдле, А. Величковского, Г. Газданова, З. Гиппиус, О. Гэксли, М. Джиласа, В. Дукельского, Г.Евангулова, И. Елагина, Г. Ермолаева, А. Есенина-Вольпина, Б. Жабинского, Н. Заболоцкого, В. Завалишина, Б. Зайцева, Е. Замятина, Л. Зандера, В. Зубова, Вячеслава Иванова, Ю. Иваска, О. Ильинского, А. Камю, А. Кашина, Ю. Клайна, Д. Кленовского, В. Корвина-Пиотровского, М. Корякова, Г. Кругового, А. Кторовой, Г. Кузнецовой, С. Левицкого, Б. Литвинова, В. Литвинского, А. Камю, А. Кашина, Ю. Клайна, Д. го, О. Мандельштама, Т. Манна, В. Маркова, Д. Мережковского, Е. Модестова, О. Можайской, Н. Нарокова, А. Неймирока, Ю. Одарченко, И. Одоевцевой, Д. Орвелла, Б. Пастернака, С. Ж. Перса, Н. Полторацкого, К. Померанцева, С. Прегель, А. Присмановой, Г. Раевского, А. Ремизова, Л. Ржевского, Л. Сабанеева, А. Седых, В. Сержа, В. Смоленского, Ф.Степуна, Странника, Г. Струве, Е. Таубер, Ю. Терапиано, А. Терца, А. Тойнби, А. Тургеневой, Б. Филиппова, В. Фолкнера, В. Фран-

ка, С. Франка, Э. Хемингуэя, В. Ходасевича, Марины Цветаевой, Д. Чижевского, И. Чиннова, Л. Шестова, А. Шика, И. Шмелева, В. Юрасова, Е. Юрьевского, В. Яновского и др. С портретами, репродукциями картин и рисунков и т. д.

№ 1, 1958, 430 стр. Цена 2.00.
№ 2, 1959, 462 стр. Цена 2.00.
№ 3, 1959, 433 стр. Цена 2.00.
№ 4, 1960, 330 стр. Цена 2.00.
№ 5, 1960, 346 стр. Цена 2.00.
№ 6, 1961, 382 стр. Цена 2.00.
№ 7, 1961, 398 стр. Цена 2.00.
№ 8, 1961, 350 стр. Цена 2.00.
№ 9, 1962, 367 стр. Цена 3.00.
№ 10, 1963, 426 стр. Цена 3.00.
№ 11, 1965, 404 стр. Цена 4.00.
№ 12, 1966, 408 стр. Цена 4.00

НАРЦИССОВ Борис. — *Память.* Третья книга стихов. РК, 1965, 47 стр. Цена 1.00.

ОРВЕЛЛ Дж. — *Скотский хутор.* Перевод с англ. Г. П. Струве и М. С. Кригер. Изд. «Посев». Франкфурт-на-Майне, 1950. 79 стр. Цена 0.50.

— » — *1984.* Перевод с англ. Изд. «Посев» Франкфурт-на-Майне. 298 стр. Цена 1.00.

ПАСТЕРНАК Борис. — *Сочинения в 4-х томах.* Тома 1-3 под ред. и с комментариями Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Вступ. статьи к 1-3 тт. В. В. Вейдле, к 1-му тому — Жаклины де-Пруаяр. Изд. Мичиганского университета. Анн-Арбор:

Том первый. Стихи и поэмы 1912-1932; 1961, 2+44+504 стр. Цена 8.50.

Том второй. Проза 1915-1958; 1961, 2+14+363 стр. Цена 8.50

Том третий. Стихи 1936-1959. Стихи 1912-1957, не собранные в книги автора. Статьи. 1961, 2+16+330 стр. Цена 8.50.

Том четвертый. Доктор Живаго. Роман. 1959, 4+567 стр. Цена 6.50.

РАЙС Эммануил. *Под глухими небесами.* Из дневников 1938-1941. Обложка Г. Петрова. МЛС, 1967, 104 стр. Цена 2.40.

РЖЕВСКИЙ Л. *Двое на камне.* Повести и рассказы. ТЗП, 1960, 131 стр. Цена 1.75.

Сборник статей, посвященных творчеству Бориса Леонидовича Пастернака. Мюнхен. 1962, 253 стр. (Б. Пастернак, Б. Зайцев, Д. Оболенский, Л. Ржевский, И. Бушман, Г. Струве, В. Франк и др.). С портретом Пастернака. Цена 2.50.

СЕВЕРЯНИН Игорь. *Собрание поэз.* Том I. Громокипящий кубок. Изд. В. Пашуканиса, М., 1915 (Фотоиздание ИВК, 1966). С портретом автора. 203 стр. Цена 2.50.

Синявский и Даниэль на скамье подсудимых. Процесс. Последние слова Синявского-Терца и Даниэля-Аржака. Со вступительными статьями Елены Замойской и Бориса Филиппова. МЛС, 1966, 129 стр. С портретами Синявского и Даниэля. Цена 1.50.

Советская потаенная муза. Антология. Редакция и предисловие Б. Филиппова. Изд. И. Башкирцева. Мюнхен, 1961, 159 стр. (Ф. Сологуб, Марина Цветаева, В. Кривич, В. Р., А. Николев, А. Котлин, А. Есенин-Вольпин, анонимы и др.). Цена 1.50.

СОЛОГУБ Федор. *Одна любовь. Стихи.* Фотокопия изд. «Алконост», 1921, ИВК, 1962, 53 стр. Цена 1.00.

СТАВАР Анджей. *Избранные статьи о марксизме.* Перевод с польского В. Петрова. Вступительная статья Г. Петрова. Изд. «Окно», Хайаттсвилл, 1964, 309 стр. Цена 1.75.

СТЕПУН Федор. *Встречи.* ТЗП, 1962, 206 стр. (Бунин, Б. Зайцев, А. Белый, Л. Леонов и др.). Цена 3.00

СТРУВЕ Глеб.	*Утлое жилье.* Стихи. МЛС, 1965, 124 стр. С портретом автора. Цена 1.50.
ТЕРАПИАНО Юрий.	*Избранные стихи.* ИВК, 1963, 112 стр. Цена 1.50.
— » —	*Паруса.* Стихи. РК, 1965, 38 стр. Цена 1.00.
ТЕРЦ Абрам.	*Фантастический мир Абрама Терца.* Повести, рассказы, очерки (В цирке. — Ты и я. — Квартиранты. — Графоманы. — Гололедица. — Пхенц. — Суд идет. — Любимов. — Что такое социалистический реализм). Вступительная статья Б. Филиппова. Портрет автора. Обложка Н. Сафонова. МЛС, 1967, 459 страниц. Цена 3.80.
— » —	*Мысли врасплох.* Вступительная статья А. Филда. Обложка работы Н. Сафонова. ИР, 1966, 147 стр. С портретом автора. Цена 2.00.
ФИЛИППОВ Борис.	*Сквозь тучи.* Повесть в 4-х рассказах. Вашингтон, 1960, 191 стр. Цена 1.85.
— » —	*Пыльное солнце.* Рассказы. Вашингтон, 1964, 47 стр. Цена 0.85.
— » —	*Тусклое оконце.* Рассказы, стихи, очерки. Обложка Н. Сафонова. РК, 1967, 87 стр. Цена 1.80.
ФОРШ Ольга.	*Сумасшедший корабль.* МЛС, 1964, 256 стр. Цена 3.00
ФРАНК С. Л.	*Из истории русской философской мысли конца 19-го и начала 20-го века.* Антология. Под ред. В. Франка, МЛС, 1965; обложка и переплет по рис. С. Голлербаха, 286 стр. Цена 4.00, в коленк. переплете — 4.75.
— » —	*Душа человека.* Опыт введения в философскую психологию. Изд. 2-ое. YMCA, 1964, 328 стр. Цена 4.00.

Перечисленные выше книги можно приобрести в магазинах русской книги Европы и Америки.

Издания Международного Литературного Содружества (Inter-Language Literary Associates) и «Русской Книги» в Европе — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через генерального представителя Содружества (и «Русской Книги») — и в тех европейских магазинах, которым он передает наши книги —

A. NEIMANIS
BUCH-VERTRIEB
8 München (Munich) 2, Linprunstrasse 11. West Germany

Эти же издания — и издания И. Г. Раузена в США, Канаде, Южной Америке и Израиле можно приобрести исключительно через генерального представителя Содружества (и «Русской Книги») — и в тех американских, канадских, южноамериканских и израильских книжных магазинах, которым он передает наши книги —

RAUSEN PUBLISHERS & DISTRIBUTORS
3637 Broadway, New York, N.Y. 10031. U.S.A.
Tel.: 212—286-7419

ТРЕБУЙТЕ НАШИ КАТАЛОГИ:
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕСПЛАТНО.